

МИР

Библиотека
путешествий

Брюс Чатвин

В ПА ТАГО

«Патагонская пустыня — это не пустыня из песка или камня, это низкие заросли серых колючек, которые издают горький запах, если их надломить. В отличие от Аравийской пустыни эта местность не породила изумительных роскошеств духа, однако и ей нашлось место в книге человеческого опыта. Чарлз Дарвин, например, восхищался ее отрицательными качествами. Подводя итоги своего «Путешествия на «Бигле», он попытался — правда, безуспешно — объяснить, почему именно эта «бесплодная пустошь» так завладела его воображением, больше, чем все чудеса, встречавшиеся ему по пути»

МИР

Библиотека
путешествий

Брюс Чатвин — английский журналист и писатель, в 1975 году бросивший работу в газете Sunday Times и уехавший на полгода в Патагонию. Вернувшись, 37-летний Чатвин написал свою первую книгу — «В Патагонии», один из самых удивительных памятников литературы о путешествиях второй половины XX века.

Bruce Chatwin IN PATAGONIA

«Чистое наслаждение — столько событий, столько историй из жизни и самых удивительных фактов, какие только можно вообразить. Он исполнил мечту всякого настоящего путешественника: нашел далекую страну, в которой почти никто не бывал, подобную стране Джамблей... Необычная книга, приносящая необычайное удовольствие» / The Times

«В Патагонии» — это приключенческий роман или роман-путешествие. Роман об изгнании и скитаниях. В поисках таинственного животного Брюс Чатвин отправляется в далекую страну. В пути ему встречаются разные люди, и он останавливается, чтобы записать их истории. Брюс Чатвин неподражаем: лаконичный, задумчивый, приветливый и угрюмый, бесстрастный и полный сочувствия, восприимчивый ко всему необычному» / New Statesman

ISBN 5-8163-0074-1



9 785816 300742

Брюс Чатвин

В Патагонии

«Логос»
Москва, 2006

УДК 821.111.1-94
ББК 84(4Вел)-44
Ч-26

Bruce Chatwin
In Patagonia

Перевод с английского *Ксения Голубович*
Редактор *Ксения Викторова*
Макет *Дарья Яржамбек*

Брюс Чатвин
Ч-26 В Патагонии, пер. с англ. Ксении Голубович
М.: ЗАО «Афиша Индастриз», 2006, Издательство «Логос», 2006. — 304 с.

«В Патагонии» — первая книга Чатвина, которая принесла начинающему писателю широкую известность и несколько литературных премий. Каждая маленькая глава этой книги могла бы стать целым романом. Это необычные истории жизни обычных людей, описания далеких городов, таинственных лесов и невиданных животных. Чатвин идет пешком, едет на попутных грузовиках, плывет на пароходе и пишет обо всем, что встречает в пути. Острый взгляд неутомимого путешественника позволяет ему описывать такие вещи, которых никто другой не замечал.

ISBN 5-8163-0074-1

УДК 821.111.1-94
ББК 84(4Вел)-44

Подписано в печать 14 июля 2006 года
Тираж в 5000 экземпляров отпечатан в ОАО «Типография «Новости» (Москва, Фридриха Энгельса, 46)
© Bruce Chatwin, 1977. Sections 73, 75 and 76 copyright
© Monica Barnett
© Издательство «Логос», Москва, 2006

Цитирование и перепечатка фрагментов или отдельных частей книги возможны только с разрешения правообладателей. При цитировании ссылки на правообладателей обязательны

В гостиной у моей бабушки стоял сервант, а в серванте лежал кусочек шкуры — маленький, но толстый, плотный, с клочками жесткой рыжеватой шерсти. Он был приколот ржавой булавкой к открытке. На открытке виднелась выцветшая чернильная надпись, но я тогда был слишком мал, чтобы ее прочесть.

— Что это?

— Это кусочек бронтозавра.

Моя мать знала двух доисторических животных — бронтозавра и мамонта. По ее мнению, это был не мамонт. Мамонты ведь водятся в Сибири.

Бронтозавр, как я выяснил, утонул во время Потопа: он был слишком большой, чтобы залезть к Ною в ковчег. Я представлял себе лохматого, неуклюжего зверя с когтями и клыками. Его глаза полыхали злобным зеленым огнем. Иногда бронтозавр вламывался ко мне сквозь стены спальни, и я просыпался.

Наш же бронтозавр обитал в стране Патагонии, где-то в Южной Америке, на краю света. Тысячи лет назад он попал в ледник, в темнице из голубого льда пропутешествовал вниз по склону и в превосходном состоянии добрался до подножия горы. Там его и обнаружил Чарли Милворд Мореход, двоюродный брат моей бабушки.

Чарли Милворд был капитаном торгового судна. Его корабль затонул у входа в Магелланов пролив, а Чарли выжил и поселился неподалеку, в Пунта-Аренас, где стал управлять судовой верфью. Чарли Милворд, которого рисовало мне воображение, был почти богом: высокий, мощный, немногословный, с черными бакенбардами и горячими голубыми глазами. Зюйдвестка сидела у него набекрень, голенища морских сапог свешивались почти до земли.

Увидев бронтозавра, который высунулся из своей ледяной норы, Чарли сразу понял, что с ним делать. Он расчленил его, просолил, закатал в бочки и отправил по морю в Музей естественной истории в Южном Кенсингтоне. Я живо рисовал себе кровь и лед, соль и плоть, партии рабочих-индейцев и ряды бочек вдоль берега — весь этот титанический и, как оказалось, совершенно напрасный труд. Бронтозавр протух во время путешествия через тропики, и в Лондон дошла лишь его разложившаяся туша; вот почему в музее кости бронтозавра показывали, а шкуру нет.

К счастью, Чарли догадался отослать кусочек моей бабушке.

Бабушка жила в доме из красного кирпича, который прятался за изгородью желто-крапчатых лавров. Дом был с высокими трубами, с острыми крышами, в саду росли кроваво-красные розы. Внутри пахло церковью.

Я не многое помню о бабушке — кроме ее размеров. Бывало, я карабкался по ее огромной груди или наблюдал за ней, прикидывая, сумеет ли она подняться со стула. Над ней висели портреты голландских бюргеров с жирными, лоснящимися лицами, которые утопали в огромных белых воротниках. На каминной полке стояли два японских уродца, их глаза — раскрашенные красно-белые шарики из слоновой кости — могли выкатываться из орбит, повисая на стебельках. Я играл с этими уродцами и еще с говорящей игрушечной мартышкой из Германии, но все равно приставал к бабушке:

— Пожалуйста, можно мне кусочек бронтозавра!

За всю свою жизнь ничего не хотел я с такой силой, как этот маленький кусочек шкуры. Бабушка сказала, что когда-нибудь мне, возможно, отдадут его насовсем. И когда она умерла, я спросил:

— А теперь мне можно взять кусочек бронтозавра?

Но мама сказала:

— А, ты об этом! Боюсь, мы его выкинули.

В школе все смеялись над моей историей о бронтозавре. Учитель естествознания заявил, что я перепутал его с сибирским мамонтом. На уроке он рассказал, как русские

ученые однажды пообедали замороженным мамонтом, а мне велел не выдумывать. И потом, сказал он, бронтозавры — это рептилии. У них не было шерсти — только чешуйчатая кожа, твердая, как броня. Учитель показал нам художественную реконструкцию этого животного. Оно было совершенно не похоже на то, что воображалось мне. Серо-зеленое, с крошечной головой и горой гигантского изогнутого хребта, оно мирно жевало озерные водоросли. Мне было стыдно за моего волосатого бронтозавра, и все же я знал: это был не мамонт.

Понадобилось много лет, чтобы разобраться в этой истории. Животное Чарли Милворда было не бронтозавром, а милодоном, или гигантским ленивцем. Чарли никогда не находил целого экземпляра или хотя бы полного скелета — только отдельные кости и лоскуты шкуры, которые сохранились в холоде, сухости и соли в пещере на берегу пролива Последней Надежды, в чилийской Патагонии. Всю свою коллекцию Чарли продал Британскому музею. В этой версии меньше романтики, зато она верна — и в этом ее преимущество.

Но даже утратив кусочек бронтозавра, я по-прежнему интересовался Патагонией: холодная война пробудила во мне страсть к географии. В конце сороковых тень кремлевского каннибала, с усами, которые можно было принять за клыки, омрачала нашу жизнь. Мы слушали лекции о войне, которую он нам готовит. Мы смотрели, как инструктор по гражданской обороне обводит города Европы большими кругами, показывая зоны полного и частичного поражения. Мы видели, как эти зоны накладываются друг на друга, пересекаются, не оставляя на карте свободного пространства. Глядя на нашего инструктора, в шортах цвета хаки, с белыми шишковатыми коленями, мы понимали, что положение безнадежно. Война надвигается, и сделать тут ничего нельзя.

В другой раз мы читали о кобальтовой бомбе, которая даже хуже водородной: она может задушить всю планету цепью бесконечной химической реакции.

Кобальт я знал по коробке с красками, принадлежавшей моей двоюродной бабушке. Она жила на Капри во времена Максима Горького и рисовала обнаженных каприйских мальчиков. Позже ее живопись стала почти исключительно религиозной. Она писала бесчисленных святых Себастьянов, всегда на кобальтово-синем фоне — всегда один и тот же прекрасный юноша, которого вновь и вновь пронзают стрелы, а он все стоит.

Так что кобальтовую бомбу я представлял себе в виде густо-синей облачной гряды с языками пламени по краям. Я представлял и самого себя — совсем одного, на зеленом мысу, вглядывающимся в горизонт в ожидании этого облака.

И все же мы надеялись выжить. Мы основали Комитет по эмиграции и стали строить планы обустройства в одном из дальних уголков земли. Мы корпели над атласами. Мы изучали направления главных ветров и вероятные схемы осадков. Война разразится в Северном полушарии — мы устремились в Южное. Мы сходу отвергли тихоокеанские острова: остров — это всегда ловушка. Мы отвергли Австралию и Новую Зеландию и наконец остановились на Патагонии как на самом безопасном месте земного шара.

Я представлял себе низкий деревянный дом с крышей из дранки, с законопаченными щелями, с рядами лучших на свете книг вдоль стен — место, где можно жить, когда весь остальной мир пойдет прахом.

Потом Сталин умер, мы пропели в часовне благодарственные гимны, но я все же оставил себе Патагонию — про запас.

История Буэнос-Айреса записана в его телефонном справочнике. Помпей Романов, Эмилио Роммель, Креспина Д.З. де Роза, Ладислав Радзивил и Элизабет Марта Каллман де Ротшильд — пять имен, выбранных наугад на букву Р, могут долго рассказывать об изгнанничестве, разочаровании, страхе, которые скрываются за кружевом оконных занавесок.

Всю неделю, что я провел там, стояла прекрасная летняя погода. Магазины были украшены к Рождеству. Мавзолей Перона в Оливосе только что открылся, Эва прекрасно выглядела после турне по хранилищам европейских банков. Какие-то католики пропели заупокойную мессу по Гитлеру, и все ожидали военного переворота.

К полудню город окутывался серебристым смогом. Вечерами на набережной гуляли девушки и молодые люди — холеные, чопорные, без единой мысли в голове, они прохаживались под руку вдоль деревьев, и красная гранитная балюстрада отделяла их от красной реки.

Запирались на лето квартиры богатых людей, позолоченная мебель укутывалась белыми чехлами, кожаные чемоданы громоздились в прихожих. Все лето богатые развлекались на своих эстансиях¹. Очень богатые отправлялись в Пунта-дель-Эсте в Уругвае, где им меньше угрожало похищение ради выкупа. Некоторые из них — несомненно, самые отчаянные — утверждали, что для похитителей лето тоже мертвый сезон: мол, герильеро² тоже снимают виллы или отправляются в Швейцарию кататься на лыжах.

¹ Эстансия — крупное поместье в Аргентине, Чили и др.

² Герильеро — партизаны.

Мы обедали под картиной кисти Рамона Монвуазана, последователя Делакруа, изображавшей гаучо¹ из войска генерала Росаса: гаучо лежит задрапированный в кроваво-красное пончо, похожий на одалиску, в кошачьей позе, лениво-эротичный.

«Только француз способен посмотреть на гаучо без всякого ханжества», — подумал я.

Справа от меня сидела литературная дама. Она сказала, что стоит писать лишь об одиночестве и стала рассказывать историю о всемирно известном скрипаче, который во время гастролей застрял в мотеле на Среднем Западе. История вращалась вокруг постели, скрипки и его деревянной ноги.

Несколько лет назад эта дама встречалась с Эрнесто Че Геварой. Тогда это был неопрятный молодой человек, отчаянно пробивавшийся наверх.

— Конечно, он был настоящий *macho*, — сказала она, — как и большинство аргентинских мальчиков, но кто бы мог подумать, что дело пойдет так далеко!

Город постоянно напоминал мне о России: машины тайной полиции с торчащими антеннами, широкобедрые женщины, которые лижут мороженое в пыльных парках, и такие же подавляющие монументы, такая же картонная архитектура, такие же проспекты, которые, не будучи прямыми, создают иллюзию бесконечного пространства и ведут в никуда.

Скорее царская, а не советская Россия. Базаров мог бы жить в Аргентине, сюжет «Вишневого сада» — это аргентинский сюжет. Россия с ее продажными чиновниками, прижимистыми кулаками, Россия, которая закупает продукты за границей, а российские помещики с подозрением косятся на Европу.

Так я и сказал одному своему другу.

¹ Гаучо — латиноамериканские ковбои. Гаучо играли роль кавалерии в латиноамериканских армиях XIX века.

— Многие так говорят, — ответил он. В прошлом году одна старая белая émigrée приехала к нам в загородный дом и невероятно разволновалась, захотела зайти в каждую комнату, мы поднялись на чердак, и она воскликнула: «Ах! Я так и знала! Это запах моего детства!»

3

Я сел в поезд на Ла-Плату, чтобы посетить лучший в Южной Америке музей национальной истории. В вагоне ехали две жертвы повседневного machismo — худая женщина с синяком под глазом и болезненная девочка-подросток, прижимавшаяся к ее платью. Напротив сидел мальчик в рубашке с зелеными разводами. Присмотревшись, я увидел, что разводы изображают оружейные клинки.

Ла-Плата — университетский город. На стенах граффити — в основном несвежий уже импорт 1968 года, но встречаются и оригинальные: «Исабель Перон или смерть!», «Будь Эвита жива, она родилась бы Montonera», «Смерть английским пиратам!», «Хороший интеллектуюал — мертвый интеллектуюал!».

Аллея, засаженная деревьями гинкго, вела мимо статуи Бенито Хуареса¹ к ступеням у входа в музей. На флагштоке развевался флаг Аргентины — национальные цвета, белый и голубой, но красная волна геваристских лозунгов накатывалась на классический фасад, дохлестывая до самого фронтона, и угрожала поглотить все здание. У входа застыл молодой человек со скрещенными руками. Он заявил: — Музей закрыт по разным причинам.

Рядом с ним стоял поникший индеец из Перу, он специально приехал сюда из самой Лимы. Вдвоем мы возвращали к совести охранников, и наконец они впустили нас в музей.

В первой комнате я увидел большого динозавра, найденного в Патагонии литовским эмигрантом Казимиром Слапеличем и названного в его честь. Я увидел глипто-

¹ **Бенито Хуарес** (1806–1872) — президент Мексики в 1861–1863, 1867–1872 годах. Единственный глава Мексики индейского происхождения со времен испанского завоевания, проводил либеральные реформы, обеспечившие его популярность в левых кругах многих латиноамериканских стран.

донтов, или гигантских армадиллов, напоминавших бронированные машины на параде; их костяные чешуйки походили на лепестки японской хризантемы. Я увидел чучела птиц Ла-Платы рядом с портретом У.-Г.Хадсона¹; и наконец я нашел останки гигантского ленивца, *Myloodon listai*, из пещеры в проливе Последней Надежды — когти, навоз, кости с сухожилиями и кусочек шкуры. Он был покрыт рыжеватой шерстью, которую я помнил с детства. Он был в полдюйма толщиной. В нем можно было различить белые узелки хрящей, и выглядел он как козинак с орехами, только покрытый шерстью.

Ла-Плата — родина Флорентино Амегино, самоучки, который родился в 1854 году в семье эмигрантов из Генуи, а умер директором Национального музея. Он начал собирать древние ископаемые еще ребенком, а позже основал писчебумажное предприятие, которое назвал *El Gliptodonte* — в честь своего любимца. В конце концов ископаемые заняли все здание, совершенно вытеснив писчебумажные принадлежности, но к этому времени Амегино уже обрел всемирную известность — так многочисленны были его статьи, так уникальны окаменелости.

Его младший брат Карлос прочесывал ущелья по всей Патагонии, а Флорентино сидел дома и сортировал кости. Он обладал поразительной силой воображения и мог воссоздать доисторического колосса по кусочку зуба или когтя. Его страсть к колоссальности отражалась и в названиях: одно животное он назвал *Florentinoameghinea*, другое — *Propalaeohoplrophorus*. Свою страну он любил со страстью эмигранта второго поколения, и его патриотизм иногда не знал удержу. Однажды он бросил вызов всей мировой науке по вопросу о патагонских динозаврах.

Около пятидесяти миллионов лет назад, когда континенты еще перемещались с места на место, динозавры Патагонии ничем не отличались от динозавров Бельгии,

¹ **Уильям Генри Хадсон** (1841–1922) — аргентинский писатель и орнитолог американского происхождения. Несмотря на то что большую часть жизни прожил в Англии, в Аргентине считается одним из классиков национальной литературы.

Монголии или Вайоминга. Когда они вымерли, их место заняли теплокровные млекопитающие. Ученые, исследовавшие этот феномен, предположили, что они зародились в Северном полушарии и именно оттуда начали расселяться по всему земному шару.

Первыми до Южной Америки добрались странные животные, ныне известные как нотоунгуляты и кондилартры¹. Вскоре после их прибытия океан поглотил Панамский перешеек, и они оказались отрезаны от остальных творений Создателя. Вдали от хищников, которые могли бы угрожать им, млекопитающие Южной Америки принимали все более причудливые формы. Там были гигантские ленивцы: токсодонты, мегатерии и милодоны. Там были дикобразы, муравьеды и броненосцы; литоптерны, астраптерии и макраухении (нечто вроде верблюда с хоботом). Потом Панамский перешеек вновь поднялся из вод, и орды более жизнеспособных североамериканских млекопитающих, таких как пума и саблезубый тигр, хлынули на юг и уничтожили множество местных видов.

Эта зоологическая версия доктрины Монро² пришла не по душе ученому доктору Амегино. В самом деле, некоторые южане не только устояли против Yanqui, но и захватили часть территории нападавших: малые ленивцы дошли до Центральной Америки, броненосцы до Техаса, а дикобразы до Канады (лишнее доказательство тому, что ни одно вторжение не остается без ответа). Но на этом Амегино не остановился: он до конца выполнил долг перед своей страной и перевернул хронологию. Он подтасовал факты, чтобы доказать, что все теплокровные млекопитающие зародились в Южной Америке и оттуда двинулись на север.

¹ **Кондилартры** (Condylarthra) — отряд древнейших ископаемых копытных млекопитающих, выживших в Евразии и Северной Америке. В Евразии от них произошли современные копытные, в Америке — впоследствии вымерший отряд южноамериканских копытных нотоунгуляты (Notoungulata).

² **Доктрина Монро** — сформулированная в 1823 году президентом Джеймсом Монро (1758–1831) внешнеполитическая доктрина, делившая мир на две части: в Старом Свете Соединенные Штаты должны были сохранять нейтралитет в любом конфликте, а Новый Свет считался эксклюзивной сферой их влияния, и любая попытка европейской колонизации в Западном полушарии рассматривалась как угроза национальной безопасности США.

А затем его окончательно занесло: он опубликовал статью, где доказывалось, что и *Homo sapiens* появился на земле его Отечества. Вот почему для некоторых имя Амегино стоит рядом с именами Ньютона и Аристотеля.

4

Я покинул костехранилище Ла-Платы, шатаюсь под ударами Линнеевой латыни, и поспешил обратно в Буэнос-Айрес, на вокзал, откуда отправляются автобусы в Патагонию, чтобы не пропустить ночной рейс на юг.

Когда я проснулся, автобус шел по пологим холмам. Небо было серым, и лоскуты тумана висели над долинами. Зеленые пшеничные поля сменялись желтыми, на пастбищах паслись черные стада. То и дело мы пересекали речушки, заросшие ивами и пампасной травой. Эстанции с их строениями скрывались за ширмами тополей и эвкалиптов, иногда попадались черепичные крыши, но чаще — железные, красного цвета. Верхушки самых высоких эвкалиптов были голыми, ветер сдул с них все листья.

В половине девятого автобус остановился в городке, где я надеялся найти Билла Филипса: его дед был в числе патагонских первопоселенцев, и у Филипса до сих пор оставались там родственники. Городок — решетка улиц, застроенных одноэтажными кирпичными домами и магазинчиками с нависающими карнизами, на площади — муниципальный сад и бронзовый бюст генерала Сан-Мартина, Освободителя¹. Улицы вокруг сада были заасфальтированы, но задувавший из переулков ветер покрывал цветы и бронзу белой пылью.

Двое фермеров, припарковав свои пикапы у входа, потягивали в баре *vino rosado*², старик скрючился над чайником мате. Над барной стойкой висели фотографии: Хуан Перон с Исабелитой — старый, бессильный, в бело-голубом

¹ **Хосе Франсиско Сан-Мартин** (1778–1850) — аргентинский генерал, возглавивший в 1810-х годах борьбу за независимость испанских колоний в Южной Америке — нынешних Аргентины, Перу и Чили.

² **Vino rosado** — розовое вино (исп.).

кушаке; Хуан Перон с Эвитой — гораздо моложе и опаснее; третья карточка изображала генерала Росаса, с бачками и опущенными книзу уголками рта. Иконография перонизма невероятно замысловата.

Старая женщина дала мне похожий на подметку сэндвич и кофе. Конечно, согласилась она, я могу оставить здесь свою сумку, пока ищу сеньора Филипса.

— До сеньора Филипса далеко. Он живет в Сьерре.

— Как далеко?

— Восемь лиг. Но вы можете встретить его здесь. Он часто приходит в город по утрам.

Я спрашивал в округе, но в то утро никто не видел гринго Филипса. Я нашел такси и начал торговаться. Водитель был худой, бодрый тип — итальянец, подумал я. Явно получив большое удовольствие от наших пререканий, он поехал за бензином. Я изучил генерала Сан-Мартина со всех сторон и вытащил сумку на тротуар. Тут снова подъехало такси, и из него в страшном возбуждении выскочил мой итальянец:

— Я видел гринго Филипса! Там. Он идет сюда.

Он не жалел о потерянных деньгах и отказался взять с меня хоть что-то. Эта страна начинала мне нравиться.

Невысокий плотный человек в брюках цвета хаки спускался по улице. Лицо у него было веселое и мальчишеское, на затылке торчал вихор.

— Билл Филипс?

— Откуда вы знаете?

— Догадался.

— Поехали домой, — улыбнулся он.

Мы выехали из города на его старом пикапе. Со стороны пассажирского сиденья дверь заклинило, и возле убогой лачуги нам пришлось выгрузиться, чтобы впустить рыжеватого морщинистого баска, который выполнял случайные работы на ферме Филипса. Баск был слабоват умом.

Дорога шла сквозь равнинные пастбища. Вокруг ветряных насосов теснились черные коровы абердино-ангус-

ской породы. Все изгороди были в превосходном состоянии. Каждые миль пять мы проезжали мимо вычурных ворот какой-нибудь большой эстансии.

— Тут земля миллионеров, — сказал Билл. — Я живу там — в овечьих угодьях. Пару джерсиек я бы еще мог осилить, но у нас там ни травы, ни воды для большого стада. Одна сильная засуха — и я разорен подчистую.

Билл свернул с главной дороги к бледным каменистым холмам. Облака и туман начали расступаться. За холмами я увидел горную грядку, такую же серебристо-серую, как облака. На склоны упал солнечный луч, и стало казаться, что они светятся.

— Вы здесь из-за Дарвина или нас повидать? — спросил Билл.

— Вас повидать. А почему из-за Дарвина?

— Он был здесь. Отсюда можно увидеть горы Сьерра-Вентана, они сейчас покажутся, слева вдалеке. Дарвин поднимался туда по дороге в Буэнос-Айрес. Сам я никогда там не был. Слишком много работы на новой ферме.

Дорога взбиралась вверх, превращаясь в ухабистый проселок. Билл открыл ворота фермы, и на нас выскочила собака. Билл быстро скользнул обратно в кабину; собака припала к земле, злобно скаля зубы.

— Мои соседи — итальянцы, — сказал Билл. — Итальяшки заплонили весь район. Все приехали сорок лет назад из одной деревни в Марке. Все как один ярые перонисты — доверять им нельзя. У них простая философия: плодись как мухи, а там ной о земельной реформе. Поначалу у всех были нормальные участки, вот только они их без конца делят. Видишь дом, который там строится?

Дорога одолела крутой подъем, и за нами раскрылась целая страна — котловина полей, окруженная каменистыми холмами и освещенная всполохами солнечного света. Все фермерские дома скрывались в купах тополей, и только новый дом сверкал белой кладкой, голый, без всяких деревьев.

— Семья только что разделилась. Старик умирает. Два сына ссорятся. Старший получает лучшую землю и стро-

ит новый дом. Младший ударяется в местную политику. Хочет наложить лапу на лучшие овечьи пастбища гринго. А гринго, то есть я, едва сводит концы с концами, без всяких роскошеств. Подумать только, мы были гражданами Аргентины, когда эти еще торчали в своей чертовой итальянской дыре. Сейчас ты увидишь наш дом, — сказал Билл.

Мы остановились, чтобы выпустить баска из машины, и он пошел вниз по холму. Дом оказался сборным коттеджем из двух комнат, стоящим на безлесном склоне холма, с большими окнами и прекрасным видом.

— Не обращай внимания на Анну-Марию, — предупредил Билл. — Она нервничает, когда у нас гости. Это она сама себя заводит. Ей все кажется, что если гости, то по дому работы больше. А ей не сидится дома. Но ты не обращай внимания. На самом деле она гостей любит.

— Дорогая, у нас гость, — позвал он.

Я услышал, как кто-то сказал: «Неужели?» — и дверь в спальню с треском закрылась. Билл выглядел огорченным. Он погладил собаку, и мы поговорили о собаках. Я посмотрел на его книжную полку и увидел там самые лучшие книги. Он как раз читал Тургенева, «Записки охотника», и мы поговорили о Тургеневе.

Из-за двери высунулся мальчик в синих штанишках и свежeweстиранной рубашке. Он глядел на гостя с опаской и сосал палец.

— Ники, подойди сюда и поздоровайся, — предложил Билл.

Ники убежал обратно в комнату, и дверь закрылась снова. Наконец Анна-Мария все же вышла, и мы пожали друг другу руки. Она была раздражена и замкнута. Она «даже представить себе не может», что нашло на ее отца, когда он пригласил меня в гости.

— У нас тут полный хаос, — сказала она.

У нее была светлая открытая улыбка — если она улыбалась. Она была худая, проворная, с коротко стриженными черными волосами и чистой загорелой кожей. Мне она безумно понравилась, но она все твердила: «Мы, провин-

циалы». Она работала в Лондоне и Нью-Йорке. Она знала, как все должно быть, и извинялась за то, как оно было. «Если бы мы только знали, что вы приедете, мы бы...»

Это не важно, сказал я. Это все было не важно. Но я видел, это было важно для нее.

— Нам нужно будет больше мяса на обед, раз у нас гость, — сказала она. — Почему бы вам не прихватить Ники с собой и не съездить на ферму, а я тут уберусь.

Мы с Биллом подождали, пока Ники снимет вещи, надетые специально в честь гостя, и переоденется. На первом поле мы увидели несколько коричневых птиц с длинными хвостами и хохолками.

— Что это за птица, Ники? — спросил Билл.

— Урака.

— Самая мерзкая птица на белом свете, — произнес Билл.

— А вот это — теро-теро, — сказал Ники.

Пара черно-белых ржанок поднялась и закружилась над нами, пронзительным криком предупреждая, что враг рядом.

— А это — самый мерзкий на свете звук. Чертова птица ненавидит людей. Совершенно ненавидит людей.

Колея пробилась сквозь заросли колючей травы и привела нас к каким-то постройкам, спрятанным от ветра в ущелье. Худенький мальчишка по имени Дино выбежал из бетонного здания, и они с Ники начали с криками носиться по двору. Резервуар для купания овец был залит какой-то вязкой зеленой жидкостью, и Билл немедленно отозвал оттуда детей.

— Опасная штука, — сказал он. — Два месяца назад соседский мальчишка утонул в овечьей лоханке у гринго. Родители напились после воскресного обеда. Слава Богу, мать там опять беременна — в девятый раз.

Вышел отец Дино, приподнял кепку, приветствуя Билла, Билл попросил его забить овцу. Мы осмотрели ферму, джерсиек, нескольких недавно купленных баранов и трактор «МакКормик».

— И можете себе представить, во сколько обошлась эта чертова штука, с нашим-то валютным курсом. Вторую такую мне уж не купить. Знаете о чем мы тут молимся? Садизм, конечно, но мы молимся о холодной зиме в Европе. Тогда вырастут цены на шерсть.

Мы прогулялись до фруктового сада, где отец Дино уже подвесил на яблоне тушу, а его собака пожирала пурпурную гроздь овечьих внутренностей на траве. Один взмах ножа — и голова овцы оказалась у него в руке. Туша раскачивалась на дереве. Он укрепил ее и отрезал ногу, которую передал Биллу.

На полпути домой Ники спросил, может ли он поддержать гостя за руку.

— Не понимаю, что вы такое сделали с Ники, — сказала Анна-Мария, когда мы добрались до дома. — Обычно он ненавидит гостей.

5

Вечером Билл отвез меня в Баия-Бланку. По пути мы заехали к одному шотландцу поговорить насчет быка.

Ферма Сонни Уркварта стояла на равнине, примерно в трех милях от дороги. Вот уже четыре поколения, со времен индейских набегов, она переходила от отца к сыну. По пути нам пришлось открыть четверо проволочных ворот. Ночь была бы безмолвной, если бы не крики ржанок. Мы подъехали к гряде черных кипарисов, сквозь которые пробивался свет.

Шотландец отозвал собак и провел нас по узкому зеленому коридору в высокую и темную зеленую комнату, освещенную единственной лампочкой. Около камина стояло несколько викторианских кресел с плоскими деревянными подлокотниками. Запотевшие стаканы с виски оставили следы на их полировке. Высоко на стенах висели гравюры с изображениями стройных, гибких джентльменов и дам в кринолинах.

Сонни Уркварт оказался сильным, жилистым человеком со светлыми волосами, убранными назад и разделенными пробором посредине. У него были бородавки на лице и большой кадык. Кожа сзади на шее была пересечена глубокими бороздами — от работы на солнце с непокрытой головой. Глаза у него были водянисто-голубые и воспаленные.

Они с Биллом договорились насчет быка. Дальше Билл завел речь о ценах на фермы, о земельной реформе, и Сонни то кивал, то отрицательно качал головой в ответ. Он сидел на лавке и потягивал виски. От Шотландии он унаследовал определенную гордость за происхождение и смутное воспоминание о килтах и волынках, которым радовалось, впрочем, иное поколение.

Его тетка с дядей приехали из Буэнос-Айреса, чтобы присматривать за ним. Тетка была рада нашему приходу. Она пекла кекс, когда мы приехали, и теперь внесла его в комнату — покрытый глазурью из розового сахара, пышный и рыхлый внутри. Отрезая огромные ломти, она подавала их на изящных китайских тарелочках с серебряными вилочками. Мы совсем недавно ужинали, но отказаться не могли. Очередной кусок она протянула Сонни.

— Ты же знаешь, я кексы не ем, — сказал он.

У Сонни была сестра, она работала сиделкой в Буэнос-Айресе. Когда их мать умерла, сестра вернулась на ферму, но она не могла ужиться с пеоном¹ Сонни. Пеон был наполовину индеец, спал он в доме. Она ненавидела его нож. Она ненавидела его манеру пользоваться ножом за столом. Она знала, что он принесет Сонни одиу несчастья. Они пьянствовали ночи напролет. Иногда они пили всю ночь и спали весь день. Она хотела как-то украсить дом, сделать его уютнее, но Сонни сказал: «Дом останется как есть».

Однажды ночью они оба напились, и пеон оскорбил ее. Она испугалась и заперлась в своей комнате. Она почувствовала, что может произойти что-то ужасное, и вернулась на старую работу.

После ее отъезда Сонни с пеоном поссорились. Соседи говорили, что дело могло кончиться гораздо хуже. Тогда приехали дядя и тетя, но они тоже с трудом выносили жизнь на ферме. К счастью, их сбережений хватило на покупку бунгало в окрестностях Буэнос-Айреса, в приличном районе, вы не подумайте, по соседству с другими англичанами.

Они все продолжали болтать, а Сонни посасывал свой виски. Он хотел, чтобы пеон вернулся. По тому, чего он не говорил, было абсолютно ясно — он хотел, чтобы пеон вернулся.

¹ Пеон — поденный работник, батрак в Латинской Америке.

6

Баия-Бланка — последняя большая остановка на пути к Патагонской пустыне. Билл высадил меня у отеля рядом с автобусной станцией. Зеленый бар в отеле был ярко освещен, там было полно мужчин, игравших в карты. Возле стойки я увидел деревенского паренка. Ноги у него подкашивались, но голову он держал прямо, как настоящий гаучо. Паренек был хорош собой, с кудрявыми черными волосами, и в самом деле очень пьяный. Жена хозяина провела меня в душную, выкрашенную в темно-красный цвет комнату, где стояли две кровати. Там не было окон, а дверь выходила на застекленный двор. Комната была очень дешевой, и женщина не говорила, что ее придется с кем-то делить.

Я уже было почти заснул, когда в комнату, шатаясь, ввалился тот самый паренек, бросился на вторую постель, застонал, сел, и тут его вырвало. В течение следующего часа его рвало несколько раз, потом он захрапел. В ту ночь из-за храпа и запаха рвоты я так и не спал.

На следующий день, пока мы ехали по пустыне, я сонно таранился на серебристые клочья облаков, кружившие по небосводу, и на серо-зеленое море колючего кустарника, уходившего вдаль волнистыми линиями и поднимавшегося вверх по уступам, и на белую пыль, струившуюся над маленькими соляными озерами, и на землю и небо, которые как будто растворялись вдали, у самого горизонта, совершенно теряя цвет.

Патагония начинается с Рио-Негро. В полдень автобус пересек Рио-Негро по железному мосту и остановился рядом с баром. Из автобуса стала выгружаться индианка со своим сыном. Ее телеса заполняли целых два сиденья. Индианка жевала чеснок; на ней были брэнчащие серьги из

настоящего золота и жесткая белая шляпа, приколотая к волосам. Когда она прокладывала себе и своим сверткам путь на улицу, лицо мальчика выразило какой-то беспредметный ужас.

Дома в деревне были из кирпича, с черными печными трубами и клубками электрических проводов на крышах. Там, где кирпичные дома заканчивались, начинались лачуги индейцев, состряпанные из ящиков, листов пластика и мешковины.

По улице шагал одинокий человек в коричневой фетровой шляпе, надвинутой на глаза, с мешком на спине. Он уходил в облака белой пыли, прочь из деревни. Несколько детей, устроившись в дверном проеме, мучили ягненка. Из какой-то хижины доносились звуки радио и шипящего жира. Высунулась толстенная рука, швырнула кость собаке — собака подхватила кость и убралась восвояси.

Индейцы приезжали сюда с юга Чили наниматься на сезонные работы. Они были из арауканов¹. Сотню лет назад арауканы отличались невероятной храбростью и свирепостью, они раскрашивали себе тела красной краской, сдирали с врагов кожу заживо и высасывали сердца у мертвецов. Образование арауканских мальчиков сводилось к хоккею и верховой езде, к пьянству, дерзости и сексуальной физкультуре, и на протяжении трех столетий они приводили испанцев в ужас. В XVI веке Алонсо де Эрсилья воспел их в эпической поэме под названием «Араукана». Эту поэму прочитал Вольтер, и с его легкой руки арауканы поднялись до претендентов на звание благородного дикаря (в его суровом варианте). Арауканы и до сих пор весьма суровы и были бы еще суровее, брось они пить.

За деревней простирались орошаемые плантации маиса и тыквы, сады вишневых и абрикосовых деревьев. Вдоль реки растрепанные ивы выставляли напоказ свою себрестую подкладку. Индейцы, видно, приходили сюда за

¹ **Арауканами** европейцы называли коренных обитателей центральной и южной частей Чили и юга Аргентины (самоназвание — мапуче). Мапуче отстаивали свою независимость от империи инков и оказывали ожесточенное сопротивление европейской колонизации с сер. XVI по кон. XIX века.

ивовыми ветками: всюду белели порезы и пахло древесным соком. Стремительная река, переполненная таявшим в Андах снегом, на бегу шелестела тростником. Багряные ласточки охотились за жуками. Едва они взлетали над утесом, как ветер подхватывал и отбрасывал их, а они рвались вперед, но летели вспять, хлопали крыльями, но снова соскальзывали вниз и кружили над рекой.

Утес круто поднимался над паромным причалом. Я взобрался туда по тропинке, чтобы взглянуть вверх по течению, в сторону Чили. Я увидел реку, блестящую, скользящую сквозь белые, точно кости, утесы, с изумрудными полосками полей по обеим сторонам. За утесами раскинулась пустыня. Ни звука — лишь свист ветра, кружащего в терновнике и проносящегося сквозь стебли мертвых трав, ни единого признака жизни, кроме разве ястреба да черного таракана, пробиравшегося среди белых камней.

Патагонская пустыня — это не пустыня из песка или камня, это низкие заросли серых колючек, которые издают горький запах, если их надломить. В отличие от Аравийской пустыни, эта местность не породила изумительных роскошеств духа, однако и ей нашлось место в книге человеческого опыта. Чарлз Дарвин, например, восхищался ее отрицательными качествами. Подводя итоги своего «Путешествия на «Бигле», он попытался — правда, безуспешно — объяснить, почему именно эта «бесплодная пустошь» так завладела его воображением, больше, чем все чудеса, встречавшиеся ему по пути.

В 1860 году У.-Г.Хадсон приехал в Рио-Негро в поисках перелетных птиц, зимовавших возле его дома в Ла-Плате. Много лет спустя он вспоминал об этом путешествии, пропуская его через фильтр своих ноттинг-хиллских меблированных комнат, — и написал об этом путешествии книгу настолько трезвую и спокойную, что на ее фоне даже Торо выглядит болтуном. Целую главу «Праздних дней в Патагонии» Хадсон посвятил ответу на вопрос мистера Дарвина. Его вывод состоит в том, что странники пустынь открывают в себе первобытный покой (знакомый кроме

них самым примитивным дикарям), который, вероятно, есть то же, что Свышний мир, упоминаемый в Библии.

Приблизительно в то же время, на которое пришелся визит Хадсона, Рио-Негро являлась северной границей одного удивительного королевства, до сих пор сохраняющего собственный двор в изгнании в Париже.

7

В дождливый ноябрьский день Его Королевское Высочество Филипп, принц Арауканский и Патагонский, удостоил меня аудиенции в своей общественной приемной на улице Фобур-Пуасоньер. По пути мне пришлось миновать ежедневную марксистскую газету «Юманите», кинотеатр, где шел «Пиноккио», и магазин, в котором продавались шкурки скунсов и лис из Патагонии. На встрече также присутствовал придворный историк, молодой, полный аргентинец французского происхождения с королевскими эмблемами на пуговицах пиджака.

Принц, низкорослый мужчина в коричневом твидовом костюме, посасывал бриаровую трубку, изогнувшуюся вдоль его подбородка. Он только что вернулся из деловой поездки в Восточный Берлин и негодующе размахивал газетой «Правда». Он показал мне какую-то объемистую рукопись, которую хотел опубликовать, фотографию двух граждан Араукании со своим триколором — сине-бело-зеленым, судебное постановление, позволяющее месяце Филиппу Буари указывать свой королевский титул во французском паспорте, письмо от консула Сальвадора в Хьюстоне, признающее его главой государства в изгнании, и свою переписку с президентами Пероном и Эйзенхауэром (последнего он наградил орденом), а также с принцем Монтесумой, претендентом на ацтекский трон.

Прощаясь, он дал мне несколько выпусков *Cahiers des Hautes Etudes Araucaniennes*¹, среди которых было исследование графа Леона М. де Мулен-Пейе «Королевская династия Араукании и орден Мемфиса-Мизраима (Египетский культ)».

¹ *Cahiers des Hautes Etudes Araucaniennes* — «Арауканские ученые записки».

— Пробую то одно, то другое и продвигаюсь потихоньку, — сказал принц.

8

Весной 1859 года адвокат Орели-Антуан де Тунан закрыл свою контору с серыми ставнями по рю Иера в Периге, оглянулся на византийский силуэт собора и отбыл в Англию, крепко сжимая саквояж, в котором лежало 25000 франков — он снял их с общего счета своей семьи, ускорив тем самым ее разорение.

Орели был восьмым сыном крестьян-фермеров, живших в разрушенном дворянском поместье у деревушки Ла-Шез неподалеку от деревушки Ла-Фонт. Ему исполнилось тридцать три года (возраст, когда умирают гении). Он был холост и состоял в масонской ложе. С помощью небольшого подлога он сумел возвести свой род к одному галлу, заседавшему в римском сенате, и добавить к имени приставку «де». У него были безумные глаза, волосы и борода ниспадали черными волнами, одевался он как денди, держался слишком прямо и вел себя с безрассудной смелостью визионера.

Читая Вольтера, он набрел на деревянные строфы поэмы Эрсилья¹ и узнал о необузданных племенах чилийского юга:

*Крепкие и безбородые,
Телом быстрые и мускулистые,
Твердые члены, нервы из стали,
Проворные, нальые, бодрые,
Смелые, доблестные, дерзкие,
Закаленные в работе, сносящие
Смертельный холод, голод, жару.*

¹ Алонсо де Эрсилья-и-Суньига (1533–1594) — испанский поэт, принимавший участие в военных действиях против арауканов, закрепляя завоевание Чили. Цитируется отрывок из его поэмы «Араукана».

Мюрат был мальчиком на конюшне, а стал неаполитанским королем. Бернадот был клерком в адвокатской конторе в По, а стал королем Швеции. Вот и Орели-Антуан решил, что его изберут королем молодой и могучей нации арауканов.

Он сел на английское торговое судно, обогнул мыс Горн в середине зимы и высадился в Кокимбо на пустынном берегу Чили, где остановился у собрата-масона. Вскоре он узнал, что арауканы собирают силы для последней битвы с Республикой, и вступил в переписку с их касиком Манилом, выражая тому свое полное одобрение и поддержку, а в октябре пересек реку Био-Био, границу своего будущего королевства.

Его сопровождали переводчик и двое французов — господа де Лашез и де Фонтен, министр иностранных дел и министр правосудия, высокопоставленные фантомы, получившие имена в честь деревушек Ла-Шез и Ла-Фонт и существовавшие исключительно внутри собственной персоны Его Величества.

Когда Орели-Антуан и два его невидимых министра пробивали себе дорогу в чахлах зарослях алых цветов, они неожиданно повстречали молодого всадника. Юноша сообщил, что Манил умер, и провел Орели к его преемнику Квилапану. Француз был рад услышать, что молодому индейцу слово «республика» не менее отвратительно, чем ему самому. Но он узнал еще и одну новость: в предсмертном пророчестве касик воскресил мираж, вечно манивший индейцев, — конец войне и рабству настанет с приходом бородатого белого незнакомца.

Радушный прием, который ему оказали арауканы, вдохновил Орели-Антуана на немедленное провозглашение конституционной монархии, престол которой могли наследовать только члены его семьи. Он поставил под документом корявую монаршую подпись, заверил ее более твердой рукой месье де Фонтена и направил копии чилийскому президенту и в газеты Сантьяго. Тремя днями позже всадник, измученный двумя переходами через Кордилье-

ры, принес свежие новости: патагонцы также признали Его Величество своим владыкой. Орели-Антуан подписал еще один документ, аннексировав всю Южную Америку от 42° широты до мыса Горн.

Ошеломленный величием своих деяний, король удалился в меблированные комнаты в Вальпараисо и занялся конституцией, вооруженными силами, пароходным сообщением с Бордо и государственным гимном (его сочинял сеньор Гильермо Фрик из Вальдивии). Он написал открытое письмо в свою родную газету «Ле Перигор», в котором сообщал о «Новой Франции» — плодороднейшей земле, которая лопается от обилия полезных ископаемых и может компенсировать французам утрату Луизианы и Канады, но ни словом не упомянул о том, что кроме того она кишит воинственными индейцами. Другая газета, «Тан», язвительно отмечала, что «Новая Франция» вызывает не больше доверия, чем сам месье де Тунан у своих бывших клиентов.

Спустя девять месяцев, без гроша в кармане, оскорбленный всеобщим равнодушием, он вернулся в Арауканию с лошастью, мулом и слугой по имени Росалес (нанимая этого типа, он сделал обычную для туриста ошибку, перепутав монеты в пятнадцать и в пятьдесят песо). Своих подданных в первой деревне он нашел пьяными, но они сумели прийти в себя и разослали весть о собрании племен. Король произнес речь о естественном и международном праве; индейцы отвечали ему «вива». В коричневом пончо, с белой повязкой на голове, он стоял в кругу обнаженных всадников, приветствуя их резкими наполеоновскими жестами. С криком «Да здравствует единство племен! За единым вождем! Под единым флагом!» он развернул триколор.

Теперь король мечтал об армии в тридцать тысяч воинов и о том, чтобы силой утвердить свои границы. Боевые кличи перекатывались по лесу, и бродячие торговцы спиртным потянулись под крыло цивилизации. Белые колонисты видели дымовые сигналы за рекой и сами подава-

ли тревожные сигналы военным. Росалес между тем нацарапал записку своей жене (никто другой не сумел бы ее разобрать), в которой излагал свой план похищения французского авантюриста.

Орели-Антуан разъезжал по индейским поселкам без всякой охраны. Однажды, сделав привал, чтобы пообедать, он уселся на берегу реки и предался мечтам, не обращая внимания на отряд вооруженных людей, которые у него на глазах переговаривались с Росалесом под деревьями. Вдруг что-то надавило ему на плечи. Чьи-то руки стиснули его локти. Другие руки обшарили его и отобрали все, что у него было.

Под конвоем чилийских карабинеров король проследовал в столицу провинции город Лос-Анхелес и предстал перед губернатором, знатным землевладельцем доном Корнелио Сааведрой.

— Вы говорите по-французски? — требовательно спросил пленник и начал с отстаивания своих королевских прав. Закончил он предложением отпустить его в лоно родной семьи.

Сааведра признал, что Орели-Антуан не мог пожелать ничего лучшего.

— И все же, — сказал он, — я подвергаю вас суду как обычного преступника, чтобы другим не взбрело в голову последовать вашему примеру.

Тюрьма в Лос-Анхелесе была темная и сырая. Тюремщики светили ему фонарями в лицо, когда он спал. Он подхватил дизентерию. Он корчился на мокром соломенном матрасе, и призрак гарроты маячил перед ним. В один из моментов просветления король составил бумагу о престолонаследии: «Мы, Орели-Антуан Первый, не имеющий супруги, Милостью Божьей и Волей Народа Единовластный Правитель и пр., и пр...» Трон переходил к его старому отцу, как раз в это время года собиравшему грецкие орехи, затем к его братьям и к их потомкам.

А затем у него начали выпадать волосы, и вместе с ними пропало желание царствовать.

Орели-Антуан отказался от трона (под давлением), и месье Казотт, французский консул, умудрился вызволить его из тюрьмы и отправить домой на французском военном судне. Его посадили на голодный паек, но младшие офицеры приглашали его за свой стол.

В парижской ссылке он вновь отрастил волосы — еще длиннее и чернее, чем прежде, а его жажда власти разрослась до мегаломанических размеров. Завершая свои мемуары, он писал: «Людовик XI после Пероны, Франциск I после Павии оставались такими же королями Франции, как и до того»¹. Однако его карьера развивалась обычным для низвергнутых монархов путем: авантюрные попытки вернуться, торжественные церемонии в обшарпанных отелях, раздача титулов в качестве платы за обед (в какой-то момент гофмейстером его двора был Антуан Хименес де ла Роса, герцог Сен-Валентинский, профессор Смирнского университета, других университетов и пр.), поиск поддержки — не без некоторого успеха — у нуворишей и anciens combattants de guerre² и несокрушимая уверенность в том, что божественный иерархический принцип воплощен в Короле.

Он пытался вернуться три раза. Три раза он появлялся на Рио-Негро и отправлялся вверх по реке через Кордильеры. И все три раза что-то разрушало его планы, и он был вынужден возвращаться во Францию, один раз из-за предательства индейца, другой — из-за бдительности аргентинского губернатора (которого не ввела в заблуждение маскировка, состоявшая в короткой стрижке, темных очках и псевдониме «месье Жан Прат»). Что именно произошло во время третьей попытки, можно спорить: то ли однообразный мясной рацион гаучо вызвал у него заворот кишок, то ли масоны отравили его в наказание за нарушение клят-

¹ В Пероне Карл Смелый вынудил Людовика XI подписать уничижительный договор, по которому французская корона лишалась прав на Фландрию, Пикардию и другие владения. Франциск I проиграл битву с испанцами при Павии, попал в плен и был вынужден отказаться от территорий в Италии, Фландрии, Артуа, Бургундии и обещать крупный выкуп за свое освобождение.

² **Anciens combattants de guerre** — ветераны (фр.).

вы. Но факт остается фактом: в 1877 году он в полумертвом состоянии оказался на операционном столе в одной из больниц Буэнос-Айреса. Почтовый морской пароход высадил его в Бордо. Он отправился в Туртуарак к своему племяннику Жану, мяснику. Один мучительный год он прослужил деревенским фонарщиком, а потом умер — 19 сентября 1878 года.

Дальнейшая история королевства Араукании и Патагонии составляет главу скорее в истории идей, которыми была одержима Франция, а не в политической истории Южной Америки. За неимением наследника из семьи Тунан королем провозгласил себя месть Гюстав Ашиль Лавиард, взошедший на трон под именем Ахиллеса Первого. Он был родом из Реймса, где его мать содержала прачечную, известную среди тамошних жителей как «Замок зеленых лягушек». Это был бонапартист, масон, «actionnaire» Moët et Chandon, специалист по аэростатам, на которые и сам чем-то смахивал, и приятель Верлена. Он устраивал приемы на средства собственного коммерческого предприятия под названием «Королевское общество Южного Созвездия», никогда не выезжал со своим двором за пределы Парижа, зато открыл консульства на острове Маврикий, на Гаити, в Никарагуа и Пор-Вандре. Когда он попытался прозондировать почву в Ватикане, один чилийский прелат сказал: «Королевство сие существует лишь в фантазиях пьяных идиотов».

Третий король, доктор Антуан Кро (Антуан II), был врачом при дворе дона Педро, императора Бразильского, и умер в Аньере, проведя на троне полтора года. Он делал любительские литографии в стиле Иеронима Босха и доводился братом Шарлю Кро, изобретателю и поэту, автору сборника «Le Coffret de Santal»¹.

Дочь Кро ему наследовала и передала корону своему сыну, месть Жаку Бернару. И вот уже вторично монарх Араукании отправился за решетку — на сей раз за службу правительству Петена.

¹ *Le Coffret de Santal* — сандаловый ларец (фр.).

Месье Филипп Буари, его преемник, правит весьма скромно под титулом наследного принца, восстановив дом в деревушке Ла-Шез, чтобы использовать его в качестве загородной резиденции.

Я спросил, знает ли он рассказ Киплинга «Человек, который хотел стать королем»¹.

— Конечно.

— Не кажется ли вам странным, что герои Киплинга, Пичи и Дрэвот, почему-то тоже оказались масонами?

— Чистое совпадение, — ответил принц.

¹ «Человек, который хотел стать королем» (1888) — рассказ Р.Киплинга. Герой рассказа, масон Дэниэл Дрэвот, дезертир из британской армии в Индии, ставший при поддержке своего компаньона Пичи Карнехана королем Кафиристана (нынешняя афганская провинция Нуристан).

Я оставил Рио-Негро и отправился на юг, в Пуэрто-Мадрин.

Сто пятьдесят три уэльских колониста сошли здесь с борта брига «Мимоза» в 1865 году. Эти бедняки, искавшие Новый Уэльс, бежали от душных угольных шахт, от поражения в борьбе за независимость и от парламентского запрета на школьное преподавание валлийского языка. Их вожди по всей земле искали свободную страну, где воздух еще не отравили англичане. Патагонию они выбрали за то, что она на самом краю света и климат там скверный; разбогатеть они не собирались.

Аргентинское правительство выделило им землю вдоль реки Чубут. От Мадрина туда надо было идти через пустыню, поросшую колючками. И когда они наконец вышли в долину, они почувствовали, что не правительством, а Богом дарована им эта земля.

Пуэрто-Мадрин — это облезлые бетонные здания, бунгало из жести, склады из жести и сплюснутый ветром парк. Там есть кладбище с черными кипарисами и блестящими черными мраморными надгробиями. Calle¹ Сент-Экзюпери напоминает о том, что шторм «Ночного полета»² разразился где-то неподалеку.

Я шел по эспланаде и смотрел на ровную линию утесов, окаймлявших бухту. Их серый цвет был светлее, чем серые тона моря и неба. Серый пляж был устлан телами мертвых пингвинов. Посреди эспланады стоял бетонный памятник валлийцам. Он напоминал вход в бункер. С боковых сторон в него были вставлены бронзовые рельефы, изображающие Варварство и Цивилизацию. Варварство

¹ Calle — улица (исп.).

² Действие автобиографической повести А. де Сент-Экзюпери «Ночной полет» (1931) происходит в Аргентине.

было представлено группой индейцев-теуэльче, обнаженных, с мощными плитами спинных мускулов, в советском стиле. Валлийцы были на стороне Цивилизации — седобородые старики, молодые косари, полногрудые девушки с младенцами.

К ужину официант в белых перчатках подал пережаренный кусок ягнятины, который прыгал по тарелке. На стене ресторана висел огромный холст: гаучо гонят стада в сторону оранжевого заката. Вышедшая в тираж блондинка, устав бороться с ягнятиной, красила ногти. Вошел пьяный индеец и выпил три кувшина вина. Его глаза мерцали сквозь прорези в красном дубленом щите лица. Кувшины были из зеленого пластика, в форме пингвинов.

Я сел на ночной автобус, шедший в долину реки Чубут. На следующее утро я уже был в деревне под названием Гайман, центре сегодняшней валлийской Патагонии. Долина была около пяти миль шириной — решетка тополиных ветрозащитных полос, разделяющих квадраты орошаемых полей между крутыми белыми утесами берегов старого русла, — Нильская долина в миниатюре.

Старые дома в Гаймане были из красного кирпича, с подъемными окнами, аккуратными огородами и портиками, увитыми плющом. Один из домов назывался «Нит-и-Дру» — «Гнездо королька». Внутри были комнаты с выбеленными стенами, коричневыми крашеными дверьми, полированными медными ручками и старинными напольными часами. Колонисты немного взяли с собой, но расстаться с фамильными часами они не могли.

Чайный домик миссис Джонс находился в дальнем конце деревни, там, где был перекинут мост к методистской церкви. Сливы у нее уже поспели, а сад был полон роз.

— Не могу шевельнуться, мой милый, — раздалось из дома, — придется тебе войти и поговорить со мной на кухне.

Этой низко согнувшейся старушке было за восемьдесят. Она сидела за чисто выскобленным сосновым столом, обложенная подушками, начиняя пирожные лимонным кремом.

— Ни шагу не могу сделать, дружок. Совсем калекка. После наводнения у меня начался артрит, и теперь меня повсюду приходится носить.

Миссис Джонс указала на линию, до уровня которой поднялась вода, — на кухонной стене выше крашеного синим цоколя.

— Тут-то я и застряла в воде по шею.

Она приехала сюда почти шестьдесят лет назад из Бангора в Северном Уэльсе. С тех пор она не уезжала из долины. Она вспомнила одну семью в Бангоре, с которой оказался знаком и я, и сказала: «Надо же, как тесен мир».

— Вы не поверите, — сказала она, — да и никто сейчас, глядя на меня, не поверит, что в свое время я была красавицей.

И она заговорила о пареньке из Манчестера и его букете, и ссоре и расставании, и о корабле.

— А как там нравы, дома? — спросила она. — Портятся?

— Портятся.

— Здесь они тоже портятся. Все эти убийства. Не знаешь, чем все закончится.

Внук миссис Джонс помогал ей в чайной. Он слишком много ел пирожных, звал свою бабушку «грэнни», а больше ни слова ни по-английски, ни по-валлийски не знал.

Я ночевал в пансионе «Драйгох». Пансион принадлежал итальянцам, которые допоздна ставили неаполитанские песни на музыкальном автомате.

С утра я пошел прогуляться до Бетесды по белой дороге, вдоль которой росли тополя. Одному фермеру оказалось по пути со мной, и он позвал меня в гости к своему брату Алуну Пауэллу. Мы свернули на дорожку во двор, затененный ивами. Валлийская овчарка облаяла нас, а потом облизала нам лица. Там стоял низкий глинобитный дом с подъемными окнами и жестяной крышей, а во дворе обитали тележка и какая-то старая техника.

Алун Пауэлл был человеком маленького роста, сморщенным от солнца и ветра. У жены его были блестящие щеки, и она все время смеялась. Гостиная была голубого цвета, с валлийским посудным шкафом, украшенным открытками. Все открытки были из Уэльса: двоюродный брат миссис Пауэлл уехал из Патагонии и вернулся на родину, в Уэльс.

— Он правильно сделал, — сказала она. — Теперь он верховный друид.

Их дедушка был родом из Карнарвона, но где это, она сказать не могла. На ее карте Уэльса Карнарвона не было.

— Чего и ждать, — сказала она, — если карта у вас на кухонном полотенце.

Я показал ей на полотенце место, где должен находиться Карнарвон. Ей всегда хотелось это знать.

У Пауэллов был сын по имени Эдди и дочка. Еще у них было пять коров, небольшое стадо овец, картофельное поле, тыквы, маис и подсолнухи; а еще огород, сад и рощица. У них была жеребая кобыла, курицы, утки и собака. За рощицей стоял ряд свинарников. У одной из свиней началась чесотка, и мы окунули ее в лекарственный раствор.

День был жаркий. Миссис Пауэлл сказала: «Лучше разговаривать, чем работать. Устроим асадо¹». Она отпирала сарай и накрыла стол белой скатертью в красную клетку. Эдди зажег огонь, а его отец спустился в погреб. Он отрезал бок с подвешенной на крюк бараньей туши, жир с него счистил и бросил собаке. Потом он нацепил мясо на асадор, крестообразный железный вертел, и воткнул его в землю, наклонив над огнем. Потом мы ели асадо с соусом, который называется сальмуэра, из уксуса, чеснока, чилийского перца и орегано.

— Он вытягивает из мяса жир, — сказала миссис Пауэлл.

Мы пили *vino rosado*, и Алун Пауэлл говорил о травах, растущих в пустыне.

— Ими можно вылечить любую болезнь, — сказал он. Его дедушки с бабушками научились этому от индейцев. Но теперь все изменилось.

— Даже птицы уже не те. Урака прилетела из Буэнос-Айреса тридцать лет назад. Это как пример. У птиц все меняется, точно так же как и у нас.

От вина нас стало слегка клонить в сон. После обеда Эдди уступил мне на время сиесты свою комнату. Стены комнаты были выбелены. В ней стояли крашенная белая кровать и сундук для одежды. Больше там ничего не было, кроме шпор и стремян, симметрично расставленных на полке.

¹ Асадо — барбекю (исп.).

В Гаймане жена школьного учителя познакомила меня с пианистом. Это был худой, нервный юноша с изнуренным лицом и глазами, слезившимися от ветра. Руки у него были сильные и красные. Дамы из валлийского хора взяли его под свою опеку и обучили своим песнопениям. Раньше он брал уроки игры на фортепиано и теперь отправлялся в Буэнос-Айрес учиться в консерватории.

Ансельмо жил вместе с родителями за бакалейной лавкой. Его мать сама делала макароны. Это была крупная немка, которая много плакала. Она плакала, когда ее муж-итальянец выходил из себя и когда думала об отъезде Ансельмо. Муж не терпел, чтобы при нем дома играли на фортепиано. Теперь же фортепиано будет вечно молчать, а ее слезы — вечно орошать макароны. Втайне, однако, она радовалась отъезду сына. Она уже видела на нем фрак и слышала бурные аплодисменты.

На Рождество родители Ансельмо отправились на побережье вместе с его старшим братом, оставив его заниматься. Брат был автомеханик из гаража, женатый на крепкой индианке, которая взирала на окружающих так, словно они окончательно сошли с ума.

У Ансельмо была страсть к европейской культуре, настоящая слепая страсть изгнанника. Когда отец запрещал ему играть, он запирался в комнате и читал ноты или жизнеописания великих композиторов из музыкальной энциклопедии. Он учился играть Листа и задавал трудные вопросы о его дружбе с Вагнером и о вилле д'Эсте. Я ничем не мог ему быть полезен.

Валлийцы всячески окружали его вниманием. На Рождество он получил фруктовый пирог от ведущего soprano. А тенор, молодой фермер, которому он аккомпани-

ровал на айстедводе¹, подарил ему тарелку с изображением пингвина, морского льва и страуса. Ему очень понравились эти подарки.

— Это за то, что я для них делаю, — сказал он. — А теперь я сыграю «Патетическую сонату». Хорошо?

Комната, в немецком духе, была голая, белая, с кружевными занавесками. На улице ветер поднимал облака пыли и клонил тополя. Ансельмо подошел к шкафу и взял маленький гипсовый бюст Бетховена. Он поставил его на пианино и начал.

Играл он замечательно. Трудно было себе представить лучшую «Патетическую сонату» на всем юге. А закончив, он сказал:

— Теперь я сыграю Шопена. Хорошо?

И он заменил бюст Бетховена бюстом Шопена.

— Хотите вальс или мазурку?

— Мазурку.

— Я сыграю мою любимую. Это — последнее музыкальное сочинение, которое пишет Шопен.

И он сыграл мазурку, которую Шопен диктовал на смертном одре. Свист ветра раздавался на улице, и музыка призрачно реяла над пианино, как листья над могильным камнем, и можно было легко вообразить, что находишься в присутствии гения.

¹ Айстедвод — ежегодное состязание бардов в Уэльсе.

Рождество началось невесело. Мистер Карадог Уильямс, двадцать лет служивший начальником станции, зашел в старую молельню за котлом, чтобы кипятить чай на детском празднике. Нечаянно он посмотрел в реку и увидел нагое раздутое тело, которое зацепилось за ствол упавшей ивы. Это был не валлиец.

— Наверное, турист, — сказал полицейский.

Мы с Ансельмо собрались провести день с семьей Дэвис на их ферме «Ти-Асав» — одном из тех стоакровых участков, которые были нарезаны для первопоселенцев. Дэвисы были кузенами Пауэллов, но дела у них шли получше. Ферма кормила шестерых, не считая пеона-чилийца: старую миссис Дэвис, ее сына Айвора с женой и двумя детьми и его неженатого брата Юэна.

Старая миссис Дэвис жила в большом пятикомнатном доме. Это была сухонькая старая леди с приятнейшей на свете улыбкой и волосами, забранными сверху в косы. С первого взгляда было видно, что за этой внешностью скрывается очень твердый характер. После полудня она обыкновенно сидела на восточном крыльце и наблюдала, как день за днем меняются ее штокрозы и пионы. У нее в гостиной ничего не изменилось с тех пор, как юной невестой она прибыла сюда в 1913 году. Стены были такими же розовыми, на каминной полке стояли два посеребренных шеффилдских подноса — свадебный подарок — и два глиняных мопса. По сторонам буфета висели подкрашенные фотографии родителей ее мужа, приехавших из Фестиниога. Они всегда там висели, они будут там висеть, и когда ее не станет.

Старый мистер Дэвис скончался в прошлом году. Ему было восемьдесят три. Но она не чувствует себя одинокой:

ведь с ней остался Юэн. Это был мускулистый человек с темно-рыжими волосами, карими глазами и жизнерадостным, веснушчатым лицом.

— Нет, — сказала миссис Дэвис, — Юэн еще не женился, но зато он поет. У него прекрасный тенор. На ай-стедводе он всех заставил плакать в тот раз, когда выиграл приз. Ему аккомпанировал Ансельмо, и у них вдвоем прекрасно получилось. Ох, как же этот мальчик играет. Я так рада, что Юэн подарил ему ту красивую тарелку на Рождество. Бедняжка выглядит таким потеряннным и одиноким: не очень-то весело жить в Чубуте, если семья совсем тебя не поддерживает.

— Да, Юэн должен будет когда-нибудь жениться, но на ком? У нас не хватает молодых дам, а жениться нужно только на подходящей. А если она поссорится с остальными? А если ферма не сможет прокормить две семьи сразу? Им придется разделить ее, а это будет ужасно. Одной семье придется уехать и начать все заново в другом месте.

Миссис Дэвис надеялась, что этого не случится, пока она жива.

Айвор Дэвис жил с семьей в глинобитном доме поменьше, из трех комнат. Это был высокий, прямой человек, начинающий лысеть, с глубоко посаженными глазами. Он был религиозен, и на его буфете лежали брошюры валлийского Библейского общества. Айвор Дэвис все никак не мог поверить, что мир настолько плох, как о нем говорят.

Айвор и Юэн выполняли всю работу на ферме. Тяжелее всего было копать оросительные каналы. Пеон-чилиец не делал почти ничего. Вот уже пять лет он жил в сарае для инструментов, засадил бобами клочок земли, а на мате с сахаром ему всегда хватало случайных заработков. Он никогда не ездил домой, и хозяева гадали, уж не убил ли он там кого.

Миссис Айвор Дэвис была итальянка, наделенная счастливейшим нравом. Родители ее были генуэзцами. У нее были темные волосы, голубые глаза и нежно-розовое лицо, которое как-то мало сочеталось со здешним климатом. Она непрестанно говорила о том, как все прекрасно:

¡Què linda familia! — даже если дети были некрасивые. ¡Què lindo día! — даже если дождь лил как из ведра. А если что-нибудь не было прекрасным, то делала все, чтобы оно казалось таковым. Особенно прекрасной она находила валлийскую общину. Она и говорила, и пела по-валлийски. Но, будучи итальянкой, она не сумела сделать валлийцами своих сыновей. В общине им было скучно, и они хотели уехать в Штаты.

— В этом-то и беда, — заметила Гвинет Морган, прелестная кельтская женщина с золотистыми волосами, стянутыми в пучок, — когда валлийцы женятся на чужих, они теряют традиции.

Гвинет Морган была не замужем. Она хотела, чтобы долина, как и прежде, оставалась валлийской.

— Но тут все разваливается, — сетовала Гвинет.

Ибо миссис Айвор Дэвис мечтала об Италии, и в особенности о Венеции. В своей жизни она лишь раз видела Венецию и мост Вздохов. Когда она произносила это слово — *sospirì*², — у нее выходило так громко и настойчиво, что сразу было видно: она тоскует по Италии. Ведь от Чубута так далеко до Венеции, а Венеция — это самое прекрасное, что она видела.

После чая мы отправились послушать гимны в часовню Брин-Крун. Айвор повез жену и мать в своем пикапе, а остальные отправились в «додже». Отец Айвора купил «додж» в 1920-х, и тот все еще не сломался — ведь техника в те времена была куда лучше, чем теперь.

Часовня Брин-Крун была построена в 1896 году и стояла посреди поля. Шестеро валлийцев в темных костюмах и плоских шляпах выстроились в ряд вдоль красной кирпичной стены. Во флигеле женщины накрывали на стол к чаю.

Ансельмо играл на фисгармонии, и ветер завывал, и дождь бил в окна, и кричали ржанки. Валлийцы исполняли

¹ *¡Què linda familia! ¡Què lindo día!* — Какая красивая семья! Какая прекрасная погода! (исп.)

² *Ponte dei Sospirì* — мост Вздохов (итал.).

гимны Джона Уэсли¹, а также грустные песни об обетовании, которое Господь дал кимрам: высокие дисканты, а сзади — глухо ворчащие старики. Там были старый мистер Губерт Ллойд-Джонс, который почти не мог ходить; и миссис Ллойд-Джонс в соломенной шляпе с цветами, и миссис Кледвин Хьюс — та, которую все звали Фэтти; и Нэн Хаммонд, и Даи Морган. Присутствовало все семейство Дэвисов и Пауэллов, даже Оскар Пауэлл — «буйный мальчик», носивший майку с надписью «Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlllantysilioogogoch» красными буквами вокруг валлийского дракона².

Служба кончилась. Старики болтали, дети играли в прятки между скамьями. Затем мы все вместе отправились пить чай. Это было уже второе чаепитие за день, но Рождество и было чайным днем. Женщины разливали чай из черных глиняных чайников. Миссис Дэвис принесла пиццу, и валлийцы попробовали по кусочку. Ансельмо разговаривал и смеялся вместе с Юэном. Они были близкими друзьями. Ансельмо был полон сил — с ним поделились этими силами, ведь валлийцы подымают дух всякому, кто видит их веселые, открытые ветрам лица.

¹ Дж. Уэсли (1703–1791) — английский священнослужитель и богослов, один из основателей церкви методистов, позиции которой традиционно были очень сильны в Уэльсе.

² Национальный символ Уэльса — красный дракон.

Ансельмо предложил мне пойти навестить поэта — «маэстро», как он выразился.

Поэт жил на берегу одинокой реки, среди заросших абрикосовых садов, в хижине из двух комнат. Он был учителем литературы в Буэнос-Айресе, сорок лет назад приехал в Патагонию и так и остался.

Я постучал в дверь — он проснулся. Моросило, и пока он одевался, я укрылся на веранде и стал разглядывать колонию его любимых жаб.

Его пальцы крепко схватили меня за руку. Он устремил на меня напряженный, сияющий взор.

— Патагония! — вскричал он. — Суровая возлюбленная. Она берет вас в плен своих чар. Колдунья! Она заключает вас в объятия и никогда не выпускает.

Дождь барабанил по жестяной крыше. В следующие два часа моей Патагонией был он.

Комната была темной и пыльной. В глубине ее виднелись полки из досок и упаковочных ящиков, прогибавшиеся под весом книг, образчиков минералов, индейских поделок и останков окаменелых устриц. На стене висели часы с кукушкой, одна литография с пампасскими индейцами и другая — с гаучо Мартином Фьерро¹.

— Индейцы ездили верхом лучше, чем гаучо, — говорил он. — Смуглые! Обнаженные! Без седла! Их дети начинали ездить раньше, чем ходить. Они были неразлучны со своими лошадьми. Ах! Mi Indio!

Его стол был завален скорлупками миндаля и любимыми книгами: «Скорбные элегии» Овидия, «Георгики»,

¹ **Мартин Фьерро** — романтический герой эпической поэмы (1872–1879) Хосе Эрнандеса, сначала сражается с индейцами, но потом сам оказывается вне закона и поселяется среди них.

«Уолден», «Путешествие Магеллана» Пигафетты, «Листья травы», «Мартин Фьерро», «Пурпурная земля»¹ и «Песни невинности» Блейка, которые он особенно любил.

Он протянул мне, отряхнув от пыли, экземпляр своей «Песни о последнем потоке на реке Чубут», изданной за его счет в Трелью: видение Потопа в александрийских строфах соединилось в его «Песни» с пеаном, восхвалявшим инженеров, строителей новой плотины. За свою жизнь он опубликовал две книги стихов, «Голоса земли» и «Перекатные камни», последнюю он назвал в честь булыжников, сошедших вместе с ледниками и покрывающих теперь пампасы Патагонии. Охват его стихов был космическим; в смысле техники они были виртуозны. Он умудрился втиснуть вымирание динозавров в рифмованные куплеты, используя испанский и Линнееву латынь.

Он подал мне липкий аперитив собственного изготовления, усадил меня на стул и читал, жестикулируя и постукивая вставной челюстью, тяжеловесные стансы, описывавшие геологические изменения Патагонии.

Я спросил, что он пишет сейчас. В ответ он как-то весело хихикнул.

— У меня штучное производство. Как сказал Т.-С.Элиот, «стихи умеют ждать».

Дождь прекратился, и я собрался уходить. Пчелы жужжали вокруг ульев поэта. Его абрикосы дозрели до цвета бледного солнца. Пух чертополоха облаками проплывал передо мной, а в поле виднелось несколько белых пушистых овец.

¹ «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854) — книга Генри-Дэвида Торо (1817–1862), американского философа-мистика; «Листья травы» — сборник стихов У.Уитмена; «Пурпурная земля» — роман У.-Г.Хадсона.

Помахав рукой поэту, я направился к дороге, что идет вверх на запад вдоль реки Чубут и дальше к Кордильерам. Остановился грузовик, в кабине уже сидели трое. Они ехали забрать сено с гор. Всю ночь я трясся в кузове и на заре, весь покрытый пылью, смотрел, как первые солнечные лучи ударили в ледовые вершины, и видел вдали высокие склоны в белых полосах снега и черных полосах буковых лесов.

Когда мы въезжали в Эскель, на одном из коричневых холмов, тесно обступивших город, пылал лесной пожар. Я позавтракал в зеленом ресторане на главной улице. Во всю длину комнаты шла цинковая стойка. С одной ее стороны на стеклянной витрине были выставлены стейки, почки, ребра ягненка и сосиски. Вино было кислым и подавалось в глиняных пингвинах. За каждым столиком чернели большие твердые шляпы. Гаучо носили сапоги гармошкой и черные bombachas (bombachas — это мешковатые штаны, остатки имущества бывшей французской армии, ее зуавских полков времен Крымской войны).

Человек с налитыми кровью глазами оставил своих приятелей и подошел ко мне.

— Можно к вам обратиться, сеньор?

— Присаживайтесь, выпейте стаканчик.

— Вы англичанин?

— Откуда вы узнали?

— Своих-то я узнаю, — сказал он. — Одной с моим хозяином крови.

— А почему не валлиец?

— Уж я-то отличаю валлийца от англичанина: вы — англичанин.

— Верно.

Он был очень доволен и прокричал своим приятелям: «Вот видите, я своих узнаю!»

Он посоветовал мне отправиться на овцеводческую ферму одного англичанина, в двадцати милях отсюда вглубь страны. «Tiro macanudo, — заверил мой собеседник, — хороший парень, настоящий английский джентльмен».

У Джима Понсонби была горная ферма, с зимними пастбищами в долине и летними выгонами в горах. На лугу у него паслись херефордские быки, а между ними бродили желтогрудые ибисы — большие птицы с ярко-розовыми лапами, издававшие отрывистые меланхоличные звуки.

Дом, низкий и белый, стоял среди серебристых берез. Из дверей вышла испанка.

— Муж помогает raton с баранами, — сказала она. — Они отбирают баранов на выставку. Вы найдете их в стригальне.

Хозяин, несомненно, был настоящим английским джентльменом, среднего роста, с густыми седыми волосами и коротко постриженными усами. Глаза у него были голубые, очень холодного оттенка, лицо расчерчено сетью лопнувших сосудов, а размер живота выдавал чрезмерную любовь к питью и еде. Его костюм был результатом тщательного планирования: норфолкская твидовая куртка в «елочку» с пуговицами из твердого дерева, рубашка цвета хаки с открытым воротом, камвольные штаны, бифокальные очки в черепаховой оправе и ботинки, начищенные, как на парад.

Он делал пометки в родословной чистопородных баранов. Его слуга Антонио, облаченный в полное обмундирование гаучо, с ножом, или фасуп, наискось заткнутым за пояс, проводил перед хозяином группу австралийских мериносов.

Бараны спотыкались под грузом собственной шерсти и мужской зрелости, жуя люцерну с покорностью тучных инвалидов, посаженных на диету. Лучшие экземпляры ходили в хлопковых чехлах, защищавших от грязи. Антонио приходилось их раздевать, англичанин погружал руку

в шерсть и растопыривал пальцы, пропуская сквозь них пять дюймов желто-кремового ворса.

— А где ты живешь в той стране? — спросил он.

— В Глостершире.

— Глостершир, а! Глостершир. На севере, что ли?

— На западе.

— Верно, черт бы меня побрал. На западе. Да. Мы-то сами из Чиппенхэма. Может, никогда о таком месте и не слышал? Это в Уилтшире.

— От меня в пятнадцати милях.

— Наверное, это какой-нибудь другой Чиппенхэм.

И как поживает наша старушка Англия? — он сменил тему, уводя нашу беседу подальше от географии. — Дела-то не слишком хорошо идут, а? Жалко, черт побери!

16

Я спал у пеонов. Ночь была холодной. Мне выделили койку и черное зимнее пончо вместо одеяла. Кроме этих пончо, принадлежностей для мате и ножей, пеоны не обременяли себя имуществом.

Утром на белом клевере выступило много росы. Я спустился по дороге в валлийскую деревушку Тревелин, «Место с мельницей». Далеко внизу в долине поблескивали жестяные крыши. Я увидел мельницу, обыкновенную викторианскую мельницу, а на окраине деревни — нечто весьма меня заинтересовавшее: несколько странных деревянных построек со скошенными под всеми возможными углами крышами. Подойдя ближе, я увидел, что одна из этих построек была водонапорной башней. С нее свисал флаг, на котором можно было прочесть: Instituto Bahai.

Вдруг в окне появилось черное лицо.

— ¿Qué tal?¹

— Гуляю.

— Заходи.

Бахаистский институт² в Тревелине состоял из одного приземистого, очень черного и очень мускулистого негра из Боливии и шестерых бывших студентов Тегеранского университета, из которых в наличии оказался только один.

— Только мужчины, — боливиец захихикал, — и только о-очень религиозные.

Он мастерил блесну из жестяной банки и собирался на озеро удить рыбу. Перс плескался в душе.

Персы прибыли в Патагонию как миссионеры своей мировой религии. Денег у них было много, и они наби-

¹ ¿Qué tal? — Как дела? (исп.)

² Последователи бахаизма, синкретической религии, основанной в XIX веке персом Баха-Уллой, традиционно называют свои богословские центры институтами.

ли свое заведение любимыми игрушками представителей тегеранского среднего класса: винно-красные бухарские ковры, подушки с разноцветным орнаментом, медные подносы и расписные портсигары со сценами из «Шах-Наме».

Перс, которого звали Али, выплыл из душа в саронге. Черные волосы струились по его нездоровому, бледному телу. У него были огромные медоточивые глаза и загнутые книзу усы. Он опустился на гору подушек, приказал негру приниматься за стирку и завел беседу о ситуации в мире.

— Персия очень бедная страна, — сказал он.

— Персия чертовски богатая страна, — сказала я.

— Персия могла бы быть богатой страной, но американцы забрали себе ее богатства. — Али улыбнулся, показывая опухшие десны.

Он предложил осмотреть институт. Библиотека вся сплошь состояла из бахайских книг. Я записал два названия — «Гнев Божий» и «Послание Сыну Волка. Баха-Улла». Еще там было пособие «Как научиться писать».

— К какой религии вы принадлежите? — спросил Али. — Христианской?

— Сегодня утром у меня нет никакой такой религии. Мой бог — бог странников. Если много ходишь по земле, то не нужно, наверное, другого бога.

Негр был счастлив это услышать. Он как раз собирался идти — на озеро ловить рыбу.

— Как тебе нравится мой друг? — спросил Али.

— Мне он нравится. Он хороший друг.

— Он мой друг.

— Не сомневаюсь.

— Он мой очень близкий друг. — Его лицо придвинулось вплотную к моему. — А это наша комната.

Он открыл дверь. Там стояла двуспальная кровать, подушка была увенчана тряпичной куклой. На стене, на кожаном ремне, висело стальное мачете, которым Али начал махать у меня перед носом.

— Ага! Я убью безбожника.

— Опустит эту штуку.

— Англичанин — неверный.

— Я сказал, опусти эту штуку.

— Шучу-шучу, — сказал он и повесил мачете обратно на стену. — Здесь очень опасно. Аргентинцы очень опасные люди. А еще у меня есть револьвер.

— Не хочу я на него смотреть.

Затем Али показывал мне сад и восхищался им. Бахаисты оборудовали его садовой мебелью и статуями, а боливиец выложил дорожку из разномастных камней.

— А теперь ты должен идти, — сказал Али, — я очень устал, и нам нужно спать.

Боливиец не хотел меня отпускать. День выдался прекрасный. Ему очень хотелось пойти на рыбалку. А отправляться обратно в постель в это утро хотелось ему меньше всего.

Мильтон Эванс был наиболее почитаемым жителем Тревелина, сыном его основателя. Это был полный усатый джентльмен шестидесяти одного года от роду, весьма гордившийся своим английским. Излюбленным его выражением было «А ну-ка, еще лошадиной мочи!». Тогда дочь, не знавшая английского, приносила ему пиво, он говорил: «А! Лошадиная моча!» — и осушал бутылку.

Его отец, Джон Эванс, младенцем приплыл на «Мимозе». Первым в своем поколении он начал ездить на лошади как индеец. Раз и навсегда установленный круг: работа в поле — часовня — чаепитие — был явно не для него. Он осел вдали от цивилизации, в Кордильерах, нажил состояние и построил мельницу. Обосновавшись, он на год свозил семью в Уэльс. В Фестиниоге Мильтон ходил в школу и ловил рыбу с моста — о последнем он мог рассказывать очень долго.

Он проводил меня на могилу лошади своего отца. Внутри белой ограды лежал серый валун, обсаженный целой плантацией ноготков и елок. Надпись гласила: «Здесь покоятся останки моего коня Эль-Малакары, который спас меня от индейцев 14 марта 1883 года, когда я возвращался с Кордильер».

В первых числах того марта Джон Эванс с тремя спутниками, Хьюзом, Пэрри и Дэвисом, ехали вверх по долине Чубут. Их влекли на запад старинная легенда о городе и свежие слухи о золоте. Путники остановились в палатке дружественного касика, увидели начало пастбищ и вершины Кордильер, но, не имея с собой никакой еды, решили повернуть назад. Их лошади разбили себе копыта об острые камни и хромали, а сами они провели в седле уже тридцать шесть часов. Пэрри и Хьюз ехали свесив головы на грудь, и поводья

в их руках бессильно болтались. Эванс оказался покрепче и даже подстрелил двух зайцев, так что вечером они смогли поесть.

На следующий день, пересекая долину слепящей белой пыли, они слышали за собой стук копыт. Джон Эванс пришпорил Эль-Малакару и унесся прочь от индейских копий; обернувшись, он увидел, как падают Пэрри и Хьюз и как Дэвис с дротиком в боку хватается за седло. Его конь смог оторваться от преследования, но остановился как вкопанный возле глубокого ущелья, где пустынное плато было расколото широкой трещиной. Индейцы дышали в спину, Эванс опять дал шпоры, и Эль-Малакара взвился над двадцатифутовой отвесной пропастью, поскользнулся на щебне, но выбрался на другой стороне. Индейцы, признав храбреца, прекратили преследование.

Через сорок часов Эванс въехал в уэльскую колонию и доложил о смерти других их главе Льюису Джонсу.

— Но, Джон, — возразил тот, — индейцы наши друзья, они никогда не убьют валлийца.

Вскоре Льюис Джонс узнал об аргентинском патруле, который нарушил границы индейских территорий, и понял, что это правда. Эванс повел отряд в сорок человек валлийцев на то самое место. При их приближении в воздух поднялись ястребы. Тела еще не были окончательно обглоданы, половые органы торчали у них во рту. Льюис Джонс сказал Джону Эвансу: «Небеса упасли тебя, Джон, от ужасной смерти».

Они забрали и похоронили останки. Место отметили мраморным памятником с надписью «Biddmygd os syrfeddod», «и будут мириады чудес», — строчка из гимна юной Анны Гриффит, мистика из Монтгомери, которая жила на удаленной горной ферме и тоже рано умерла.

— Ты, по-моему, не ищешь работу? — спросил Милтон Эванс. Было уже время обеда, и он преподнес мне здоровенный кусок мяса, наколотый на кончик шампура.

— Да, в общем, нет.

— Забавно, ты напоминаешь мне Бобби Дауэса. Молодой англичанин, на тебя похож, болтался у нас по Пата-

гонии. Однажды он приходит в эстансию и говорит владельцу: «Если ты дашь мне работу, ты святой, жена твоя святая и дети твои ангелы, а собака — лучшая в мире». — «У нас нет работы». — «А тогда, значит, — говорит он, — ты шлюхин сын, и жена у тебя шлюха, дети твои — мартышки, а если я эту собаку поймаю, то так напиною ей задницу, что у нее кровь носом пойдет».

Мильтон от души смеялся, рассказывая эту историю. Затем он рассказал мне еще одну историю, услышанную им от некоего Купера, купальщика овец. Это была история о лекарстве от чесотки. Вся соль заключалась во фразе: «Сунь в рот овце кусок сахара и соси ей зад, пока сладко не станет». Он дважды повторил эту историю, чтобы убедиться, что я понял шутку. Я солгал. Я не мог ее вынести в третий раз.

Я предоставил Мильтону заниматься покосом, а сам отправился к северу от Эскеля, к маленькому поселению под названием Эпуйен.

Было жарко и уже довольно поздно, и владелец единственного магазинчика в Эпуйене протирал прилавок, служивший также и барной стойкой. Сеньор Найтан был маленький помятый человек с необычайно белой кожей. Он с беспокойством поглядывал на посетителей, думая только о том, когда же они уйдут. Жена ждала его в постели. Комнаты, выходящие во двор, погрузились во тьму. Только в магазинчике единственная электрическая лампочка размазывала свой слабый желтоватый свет по зеленым стенам и рядам бутылок и пакетиков с мате на полках. С потолочных балок свисали связки перца и чеснока, седельные каркасы, удила и шпоры, отбрасывавшие зазубренные тени на потолок.

Только что казалось, что восемь гаучо, толкавшихся в магазинчике, вот-вот отправятся восвояси. Их лошади, привязанные к ограде, громко жевали и топали. Но стоило Найтану вытереть барную стойку дочиста, тут же кто-нибудь из них с грохотом ставил на нее мокрый стакан или бутылку и требовал еще всем по одной. Обслуживать их Найтан поставил мальчишку-помощника, а сам взял метелку для пыли из страусиных перьев и нервно махал ею по товарам на полках.

Стоит вам посадить пьяного гаучо в седло, он уже не упадет, и лошадь сама привезет его домой. Однако для этого необходимо миновать опасный момент, когда его придется туда сажать. Найтан думал, что этот момент приближается. Лицо самого младшего из гаучо было уже совершенно багровым, и он держался на ногах, лишь опираясь локтями на стойку. Его друзья хотели посмотреть, упадет он или нет. И у всех за пояс были заткнуты ножи.

Главным у них был тощий головорез в черных *bot-bachas* и черной рубашке, расстегнутой до пупа. Его грудь была покрыта рыжеватой шерстью, и того же цвета была щетина, что росла по всему лицу. У него было несколько длинных, острых коричневых зубов и нос, похожий на акулий плавник. Он двигался с изяществом хорошо смазанного механизма и злобно, с насмешливой улыбкой поглядывал на Найтана.

Затем он сжал мою руку и представился как Теофило Брейд. Слова плохо проходили у него сквозь зубы, и уловить, что он говорит, было трудно, но из чего-то им сказанного я понял, что он араб, — и тогда его нос получил объяснение. Эпуйен действительно был колонией арабов, арабов-христиан, но если я еще и мог представить Найтана владельцем лавки в Палестине, то Теофило Брейду подходили только черные палатки.

— А что, — спросил он, — наш *грингито* делает в Эпуйене?

— Я хочу узнать про человека по имени Мартин Шеффилд, жившего здесь сорок лет назад.

— Ба! — сказал Теофило Брейд. — Шеффилд. ¡Fantastista! ¡Cuentero! ¡Artista! Вы знаете историю плезиозавра?

— Да, знаю.

— *Fantasia*, — захохотал он и принялся рассказывать анекдот, рассмешивший и всех остальных гаучо.

— Вот смех, что вы о нем заговорили. Видите это? — он протянул мне *гебенче*, аргентинский наездничий хлыст, с выложенной серебром рукояткой и кожаным ремнем. — Это — Мартина Шеффилда.

Он объяснил мне, как добраться к *lagunita*², где у американца некогда был лагерь. Затем хватил хлыстом о стойку. Юноша все-таки удержался на ногах. Гаучо осушили свои стаканы и вышли один за другим.

¹ ¡Fantastista! ¡Cuentero! ¡Artista! — Фантазер! Болтун! Артист! (исп.)

² *Lagunita* — маленькое озеро (исп.).

Сеньор Найтан, в чьем доме я надеялся провести эту ночь, выставил меня вон и запер дверь. Генератор выключился. Топот лошадей, удалявшихся в разных направлениях, замер в ночи. Спать я лег под кустом.

Lagunita лежала под горой красного щебня. Она была немногим шире, чем обычный пруд, а в глубину не больше метра. Вокруг росли черные хвойные деревья, отражавшиеся в ее неподвижной поверхности. В зарослях тростника плавали утки-лысухи. Место было не из тех, что упоминаются в газетных заголовках на первой полосе.

Январским утром 1922 года доктор Клементе Онели, директор Национального зоологического сада в Ла-Плате, обнаружил на своем рабочем столе следующее письмо:

Дорогой сэр!

Памятуя о Вашей неусыпной заботе, направленной на поддержание общественного интереса к нашему зоопарку, я хотел бы привлечь Ваше внимание к явлению, которое, несомненно, представляет огромный интерес и может привести к обретению Вами животного, еще не известного науке. Вот факты: несколько ночей назад я заметил какие-то следы на пастбище рядом с озером, где разбил свой охотничий лагерь. Следы напоминали те, что обычно оставляют тяжело груженные повозки. Трава была полностью примята и еще не поднялась. Затем в середине озера я увидел голову животного. На первый взгляд оно походило на какой-то не описанный пока вид лебеда, но вода вокруг завивалась в водовороты, и это привело меня к выводу, что тело должно быть похоже на крокодилье.

Целью этого письма является просьба о предоставлении материальной поддержки экспедиции, то есть лодки, гарпунов и т.д. (Лодку мы можем построить прямо на месте.) Далее, если поймать животное живьем окажется невозможным, следует выслать мне все необходимое, чтобы заспиртовать этот экземпляр. Если вы заинтересовались моим предложением, пожалуйста, пришлите в дом Переса Габито сумму, достаточную для осуществления этой экспедиции.

Надеюсь на скорый ответ.

*С наилучшими пожеланиями,
Мартин Шеффилд*

Автором этого письма был искатель приключений из округа Том-Грин, штат Техас, выдававший себя за шерифа и, чтобы доказать это, ходивший в шерифской шляпе и со звездой. Он появился в Патагонии около 1900 года, с виду похожий на Эрнеста Хемингуэя, и скитался по горам, «беднее Иова», в компании белой кобылы и восточно-европейской овчарки. Он упорствовал в заблуждении, что Патагония — продолжение Старого Запада. Он искал золото в речном песке и иногда зимовал у Джона Эванса в Тревелине, обменивая грязные самородки на муку. Это был классный стрелок. Он попадал в форель в реке, в пачку сигарет во рту полицейского комиссара и имел привычку отстреливать дамские каблуки.

Шеффилд предлагал свои услуги в качестве собутыльника и проводника любому путешественнику, появлявшемуся в этом районе Анд. Во время одной из таких экспедиций он помог выкопать окаменелый скелет плезиозавра, небольшого динозавра, родственника современной черепахи, который и в самом деле обладал лебединой шеей. Теперь он попытался сбыть живой экземпляр.

Онелли созвал пресс-конференцию и объявил о гонимой охоте на плезиозавра. Дама из высшего света пожертвовала 1500 долларов на закупку оборудования. Двое пожилых пенсионеров бежали из богадельни Де-ла-Мерседес, чтобы биться с чудовищем. Кроме того, плезиозавр подарил свое имя одному танго и марке сигарет. Когда Онелли предположил, что его придется заспиртовать, жockey-клуб выразил надежду, что именно ему выпадет честь выставить его в своих стенах, но это вызвало нарекания со стороны дона Игнасио Альбаррасина из общества защиты животных.

Страна между тем была парализована всеобщими выборами, на которых должно было решиться, останется ли на своем посту президент-радикал доктор Иполито

Иригойен¹. И плезиозавр каким-то образом умудрился пробраться и в предвыборную кампанию — в качестве символа правых.

Две газеты, редакционная политика которых заключалась в поддержке присутствия иностранного капитала, приняли плезиозавра как родного. «Ла Насьон» подтверждала, что подготовка к охоте продолжается, и желала всем удачи. «Ла Пренса» проявила еще больший энтузиазм. «Существование такого необычного зверя, привлекающего к себе внимание иностранцев, стало научным событием, повышающим престиж Патагонии — обладательницы столь неожиданного создания».

В Буэнос-Айрес посыпались заграничные телеграммы. Мистер Эдмунд Хеллер, охотившийся вместе с Тедди Рузвельтом, просил выслать часть шкуры для американского Музея естественной истории в память о своем старом друге. А Университет Пенсильвании написал, что группа зоологов готова немедленно вылететь в Патагонию, добавляя при этом, что если животное поймают, то лучшим местом для него, конечно же, будут Соединенные Штаты. «Само собой разумеется, — прокомментировала «Диарио дель Плата», — что весь мир наш был создан к вящей славе североамериканцев, то есть доктрины Монро».

Плезиозавр стал предвыборным подарком и для левых. Клементе Онелли, Победитель Чудовищ, был представлен ими как новый Парсифаль, Лоэнгрин или Зигфрид. Ежедневник «Ла Монтанья» отмечал, что прирученный плезиозавр мог бы с успехом послужить прозябающим в нищете жителям *Tierra del Diablo*² — здесь содержался намек на восстание пеонов в Южной Патагонии, за месяц до того жестоко подавленное аргентинской армией. Другая статья вышла под заголовком «Каппадокийский дракон», а националистическая «Ла Фронда» написала: «Это тысяче-летнее колоссальное апокалиптическое животное кри-

¹ Хуан Иполито Иригойен (1852–1933) — лидер Радикальной партии с 1896 года, дважды президент Аргентины, придерживавшийся политики национализма и изоляционизма.

² *Tierra del Diablo* — Чертова Земля (исп.).

чит, как Мадонна¹, и обычно является упившимся гринго в их мутном оцепенении».

Не существует единого мнения о том, добралась ли экспедиция, вооруженная огромным шприцем, до озера. Но несуществование этого животного должно быть очевидным всякому, кто хоть раз ступил на его берег. А вместе с плезиозавром умерла и надежда встретить в Патагонии живых динозавров — подобных тем, которые застряли у Конан Дойля на плато в «Затерянном мире».

Мартин Шеффилд умер в 1936 году в Арройо-Норкинко — месте, которое он почитал своим личным Клондайком, умер от золотой лихорадки, от голода и белой горячки. Его могила была отмечена деревянным крестом с инициалами «М.Ш.», но крест утащил охотник за сувенирами из Буэнос-Айреса. Сын Шеффилда от индианки до сих пор живет и пьянствует в Эль-Большоне, считает себя тexasским шерифом по праву наследия и носит на груди отцовскую звезду.

Из Эпуйена я дошел пешком до Чолилы, поселка недалеко от чилийской границы.

¹ «И явилось на небе великое знамение: жена, облаченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения» (Откр. 12, 1–2).

— Попробуйте, — сказала она. — Попробуйте, как проходит ветер.

Я приложил руку к стене. Сквозняк задувал в трещины, где осыпалась известка. Бревенчатый домик был типично североамериканского образца. В Патагонии дома строили по-другому и известкой не обмазывали.

Домик принадлежал чилийской индианке по имени Сепульведа.

— Зимой здесь ужасно, — сказала она. — Я покрыла стену *materia plástica*¹, но ее унесло ветром. Этот дом сгнил, сеньор, он старый и весь гнилой. Я бы завтра же его продала. Хочу жить в бетонном доме, куда ветру не пробраться.

Когда ветер выбил стекла в гостиной, сеньора Сепульведа заколотила окна досками. Трещины в стенах она заклеивала газетами, между газетами проглядывали островки старых обоев в цветочек. Сеньора Сепульведа была женщина работающая и умела считать деньги. Она была невысокая, плотная, муж и прогнившее жилище доставляли ей немало хлопот.

Сеньор Сепульведа, упившись грогом до потери сознания, полусидел-полулежал на кухне возле плиты.

— Вы бы купили дом? — спросила она.

— Нет, — сказал я, — но не продавайте его за гроши. Найдутся джентльмены из Северной Америки, которые хорошо вам заплатят, чтобы вывезти его по частям.

— Этот стол у нас от *norteamericanos*², — сказала она, — и посудный шкаф, и плита.

¹ *Materia plástica* — пластик (исп.).

² *Norteamericanos* — американцы из США (исп.).

Она знала, что ее дом в каком-то смысле особенный, потому что он североамериканский. «Должно быть, когда-то здесь было неплохо», — сказала она.

Показывая мне дом, сеньора Сепульведа между делом старалась устроить так, чтобы ее старшая дочь уехала вместе с молодым дорожным инженером — он прикатил на новеньком пикапе и, казалось, был при деньгах. Молодые люди стояли в саду, держались за руки и смеялись над дряхлой лошаденкой, привязанной к иве. На следующий день я встретил эту девушку: она шла домой, в Чолилу, одна через пампасы, и плакала.

Этот дом построил американец — крепкий мужчина с волосами песочного цвета, с тонкими длинными пальцами и коротким римским носом. В 1902 году он был уже немолод. У него были приятные непринужденные манеры и озорная улыбка. Наверное, он чувствовал себя здесь как дома: местность вокруг Чолилы один в один походила на его родной штат Юту — край чистого воздуха и открытых просторов, плоских черных столовых гор и голубых вершин, серого кустарника, цветущего желтыми цветами, край белых костей, обклеванных дочиста ястребами и ободраных ветром, обдирающим людей до нитки.

Он был один в ту первую зиму. Но он любил читать и брал книги у соседа-англичанина. Еще в Юте он, бывало, отсиживался на ранчо у учителя, вышедшего на пенсию. В особенности же он любил читать книги по средневековой английской истории и повести о шотландских кланах. Писать ему было трудно, и все же он нашел время, чтобы сочинить вот это письмо другу, оставшемуся дома:

*Чолила, 10 Чубут,
Республика Аргентина, Южн. Ам.
Август 10, 1902
Миссис Дэвис
Эшли, Юта*

Мой дорогой друг!

Вы уж, наверное, давно решили, что я забыл про Вас (или умер), но, мой дорогой друг, я все еще жив, а когда я вспоминаю старых друзей, так Вы первая приходите мне на ум.

Думаю, Вы удивитесь, что я пишу из таких дальних краев. США мне стали тесноваты в последние два года, и мне не сиделось, охо-

та была посмотреть белый свет, в Штатах-то я, по-моему, уже видел все, что в них есть хорошего. А через несколько месяцев после того, как я посылал к Вам А. за той фотографией, на которой прыжок на веревке... еще один из моих дядюшек скончался и оставил нашей маленькой семье из трех человек 30000 долларов. Я забрал свои 10000 и стал раскатывать по свету, повидал лучшие города, лучшие места Южной Америки и вот попал сюда. Эта часть страны мне так понравилась, что я тут поселился — похоже, уже навсегда, с каждым днем мне тут все больше нравится. У меня 300 коров, 1500 овец и 28 хороших верховых лошадей, двое человек помощников, а еще дом в четыре комнаты, склад, конюшня, курятник и несколько куриц. Единственное, чего не хватает, так это повара, потому что я живу чертовым холостяком и иногда бывает очень одиноко: я весь день один, соседи не в счет, к тому же в этой стране говорят только по-испански, а я не говорю по-испански с достаточной легкостью, чтобы обсудить свежайшие сплетни и слухи, столь дорогие сердцу любого народа, а без этого разговор теряет всякую соль. Но все равно это первоклассная страна!

Тут (в этой части страны) сейчас только разводят скот, и более подходящего места для этого не придумаешь: я нигде не видал пастбищ лучше, а тут они тянутся на сотни и сотни миль, незаселенные и даже почти неразведанные. Все злаки и овощи здесь растут сами, без всякого искусственного орошения, но это здесь, где я живу, у подножия Анд, а дальше на восток начинаются прерии и пустыни, и они подходят только для скота. Там без искусственного орошения уже не обойдешься. Но зато здесь, в предгорьях, хорошей земли еще лет на сто с лихвой хватит на всех, кто тут живет, а до цивилизации тут неблизко: до Буэнос-Айреса, это столица Аргентины, 1600 миль, ближе 400 миль нет ни морских портов, ни железной дороги, зато всего в 150 милях — Тихий океан. Чтобы попасть в Чили, надо идти через горы, а горы считались непроходимыми, но прошлым летом чилийское правительство, оказывается, проложило через горы дорогу, так что до Порт-Монта в Чили мы летом сможем добираться за четыре дня. А старым путем, в обход, это не меньше двух месяцев. И это для нас очень выгодно, ведь мясо мы сбываем в Чили, а теперь мы

сможем перегонять коров в десять раз быстрее, и они не успеют отощать по пути. И закупки лучше делать в Чили, это втрое дешевле, чем здесь.

Климат тут куда лучше, чем в Эили, лето не такое жаркое, травы везде по колено, вдоволь чистой холодной воды с гор, только зимой очень сыро и противно, дождь льет без конца. Иногда бывает снег, много, но ненадолго, сразу тает. Сильных морозов тут тоже не бывает, я ни разу не видел, чтобы льду намерзло хоть на дюйм...

Покойный дядюшка — это Первый национальный банк в Виннемуке, штат Невада, ограбленный Дикой бандой 10 сентября 1900 года. Автором письма был Роберт Лерой Паркер, более известный как Бутч Кэссиди, в то время возглавлявший перечень самых опасных преступников, составленный агентством Пинкертона. «Маленькая семья из трех человек» — это *ménage à trois*¹, объединявший Бутча, Гарри Лонгбафа по кличке Сандэнс Кид и красотку Этту Плейс. Миссис Дэвис была близкой родственницей Элзы Лэя, лучшего друга Бутча, который в это время гнил в тюрьме.

¹ *Ménage à trois* — любовный треугольник (фр.).

22

Он был хорошим мальчиком, живым, дружелюбным мальчиком, который любил свою мормонскую семью и бревенчатую хижину среди хлопковых полей. Его родители покинули Англию еще в детстве и вместе с переселенцами Бригама Янга¹ прошли через прерии с ручными тележками, от Айова-Сити до Солт-Лейк. Анна Паркер была шотландка, нервная, все время как натянутая струна, Макс, ее муж, — простая душа, работяга, который не покладая рук трудился на ферме, чтобы прокормить семью, и немного прирабатывал на перевозке леса.

Их двухкомнатная хижина все еще стоит в Сирклевилле, штат Юта. Сохранились и загоны, и выгон, где Роберт Лерой учился обращаться со скотом. Тополя, которые он посадил, все еще растут вдоль оросительной канавы между садом и рядами шалфея. Роберт Лерой был самым старшим из одиннадцати детей, мальчиком с развитым представлением о долге и игре по правилам. Он задыхался в смиренной рубашке мормонства (почувяв к тому же запах разврата, шедший оттуда) и мечтал стать ковбоем, зачитываясь десятицентовыми книжками с бесконечной сагой о Джесси Джеймсе².

В восемнадцатилетнем возрасте он определил своими естественными врагами скотоводческие компании, железные дороги и банки и убедил себя, что правда лежит по ту сторону закона. Одним июньским утром в 1884 году, смущаясь и стыдясь, он сказал своей матери, что собирает-

¹ **Бригам Янг** (1801–1877) — второй пророк и глава секты мормонов. Возглавил «исход» мормонов в Юту, бывшую тогда мексиканским владением (1846–1847).

² **Джесси Джеймс** (1847–1882) — легендарный бандит из штата Миссури, почти два десятилетия терроризировавший американский Средний Запад. В массовой культуре XIX–XX веков превратился в американского Робин Гуда.

ся работать на шахте в Теллюриде. Она дала ему голубое дорожное одеяло своего отца и горшок черничного варенья. Он поцеловал сестру, малютку Лулу, плакавшую в колыбельке, и навсегда исчез из их жизни. Когда на ферму вернулся Макс Паркер, выяснилось, что его сын умыкнул часть скота — на пару с молодым Майком Кэссиди, уже не раз нарушавшим закон. Теперь вне закона оказались оба.

Боб Паркер взял себе имя Кэссиди и поскакал в новую жизнь, где были необъятные просторы и запах конского пота. («Бутч» было названием позаимствованного им револьвера.) Годы его ученичества, 1880-е, — это годы Говьяжьи бума, годы техасских лонгхорнов, усеявших все пастбища, ковбоев, живших «самцами при монахине» (одна женщина на десятерых), Скотных баронов, плативших мизерные зарплаты своим рабочим и 40% дивидендов своим вкладчикам; то было время завтраков с шампанским в Шайеннском клубе¹ и английских герцогов, которые называли своих ковбоев «слугами при коровах», а те называли их пижонами. Тогда на Диком Западе болталось очень много англичан; как писал один ковбой своему хозяину-янки, «а этот с Англии, которого вы поставили тут командовать, стал больно наглым, и пришлось его, сукина сына, завалить. А так никаких новостей у нас нету...»

Суровая снежная зима 1886–1887 годов смела три четверти поголовья скота. Природный катаклизм и человеческая жадность объединились, чтобы вывести новую породу — ковбоя, живущего вне закона. Долги и безработица заставляют его угонять скот и приводят к бандитам в убежища — такие как Дыра Брауна или Дыра в Стене². Там эти люди вливались в ряды профессиональных головорезов

¹ **Шайеннский клуб** — вымышленный шикарный бордель на Диком Западе из одноименного вестерна 1970 года с Генри Фондой и Джеймсом Стюартом. Чатвин несколько ошибается: действие фильма происходит в 1860-е годы, а не 1880-е.

² **Дыра в Стене** — этот каньон в графстве Джонсон, Вайоминг, дал название укрывавшейся в нем известной банде, в которую входили Джесси Джеймс, Очко Кетчум, братья Логан, Плосконосый Джордж Карри и др. Позже к ним присоединились Бутч Кэссиди и его Дикая банда. Еще одним их прибежищем была труднодоступная местность к юго-востоку от городка Грин-Ривер, сразу за границей штата Колорадо, известная как Дыра Брауна (ныне — Парк Брауна).

вроде Очко Кетчума, или психопата Гарри Трэйси, или Плосконосого Джорджа Карри, или Харви Логана, хроникера собственных убийств.

В эти годы Бутч Кэссиди успел побывать погонщиком, табунщиком, бродягой, грабителем банков по совместительству, а еще главарем; именно последнее его занятие больше всего пугало шерифов. В 1894 году ему дали два года в исправительной колонии штата Вайоминг за кражу лошади, которая стоила пять долларов и которую украл вовсе не он. Этот приговор отравил ему все последующие отношения с законом. С 1896 по 1901 год его «Синдикат железнодорожных налетчиков», более известный как Дикая банда, совершил серию образцово-показательных налетов, из-за которых и полиция, и пинкертоновские сыщики, и сотрудники железной дороги постоянно были на взводе. Историям о его выходках нет конца, это настоящие бешеные скачки по тропе беззакония¹. То он отстреливал стеклянные изоляторы с телеграфных столбов, то помогал бедной вдове выплатить долг, ограбив ее же кредитора. Поселенцы его обожали. Многие из них были мормонами и сами были вне закона из-за своей полигамии. Они предоставляли ему пищу, убежище, алиби и, время от времени, своих дочерей. В наши дни его называли бы революционером. Но у него не было вкуса к политике.

Бутч Кэссиди ни разу не убил человека. А вот друзья его были закоренелые душегубы, из-за их злодеяний он мучился угрызениями совести. Ему опротивело полагаться на смертоносный револьвер Гарри Лонгбафа, немца из Пенсильвании с недобрыми голубыми глазами и отвратительным характером. Бутч пытался завязать с разбоем, но его досье в агентстве Пинкертона было слишком внушительным, он просил об амнистии, но его никто не слушал. Каждое новое ограбление влекло за собой еще одно, год за

¹ **Тропа Беззакония** (Outlaw Trail) — название участка дороги в Небраске, от Валентайна до Саут-Сиу-Сити; ныне название нескольких туристических маршрутов по западным штатам, а также книг, фильмов, игр и пр., основанных на событиях из жизни Бутча Кэссиди, Сандэнса Киды и других членов Дикой банды.

годом добавлялся к приговору. Затраты на операции все возрастали. Обычно рассказывают, что Дикая банда спускала всю добычу на женщин и карты, но это лишь часть правды. У них была другая, гораздо более существенная статья расходов — лошади.

Искусство налета требует быстрого отступления, и налеты Бутча Кэссиди требовали смены чистокровных скакунов. Поставщиком лошадей у него был Клеофас Дауд, сын ирландцев-эмигрантов из Сан-Франциско, отданный в орден иезуитов и вынужденный провести детство на коленях перед алтарем и в исповедальне. Сразу после рукоположения Дауд ошеломил своих родителей и святых отцов, прогарцевав мимо них на новой скаковой лошади с парой шестизарядных револьверов поверх сутаны. В ту же ночь в Сосалито он имел удовольствие — удовольствие, им долго предвкушаемое, — совершить похоронный обряд над первым человеком, которого застрелил. Дауд бежал из Калифорнии и поселился в Шип-Крик-Каньон, штат Юта, где выращивал лошадей для всех, кто был объявлен вне закона. Лошадь Дауда считалась готовой к продаже, когда наездник мог положить ружье между ее ушами и спокойно выстрелить. За подходящими жеребятами он ездил на конный завод Кавендиша в Нэшвилле, штат Теннесси; издержки оплачивали клиенты.

Примерно к 1900 году на Диком Западе взяли верх закон и порядок. Представители закона приобрели себе собственных чистокровок, научились тягаться в скорости с головорезами, и организованная преступность укрылась в городах. Полиция и вооруженные добровольцы очистили Дыру Брауна, агентство Пинкертона распорядилось помещать конного полицейского в каждый товарный вагон, и Бутч стал свидетелем того, как его друзья один за другим погибают в салунных стычках, подстреленные наемными убийцами, или исчезают за решеткой. Некоторые из членов банды подписали контракты с Вооруженными силами и экспортировали свои таланты на Кубу или Филиппины, а у Бутча такого выбора не было: смертный приговор — или же Аргентина.

Среди ковбоев ходили слухи, что на земле гаучо тем, кто не в ладах с законом, живется так же привольно, как в Вайоминге 1880-х годов. Уилл Роджерс¹, ковбой и артист, писал: «Им нужны были наездники из Штатов, которых можно было бы поставить старшими над индейцами. Индейцам не хватало скорости». Бутч поверил, что здесь ему не грозит экстрадиция, и единственной целью двух его последних налетов было собрать денег на путешествие. После ограбления в Виннемукке пятеро его участников в приподнятом состоянии духа снялись на групповой фотографии в Форт-Уорте и послали копию управляющему банком (фотография до сих пор висит в офисе).

Осенью 1901 года Бутч встретился с Сандэнсом Кидом и его девушкой Эттой Плейс в Нью-Йорке. Этта была молода, красива, умна и держала обоих мужчин под каблуком. В ее пинкертоновском досье говорится, что она была школьной учительницей в Денвере; ходили слухи, будто она была дочерью эмигранта, жившего на деньги с родины, по имени Джордж Капел, отсюда и Плейс². Под именами Джеймса Райана и мистера и миссис А.Плейс эта «маленькая семья из трех человек» посещала оперы и театры (Сандэнс Кид был поклонником Вагнера). Они купили Этте золотые часы от Тиффани и отправились в Буэнос-Айрес на пароходе «Солджиер Принс». Высадившись на берег, они остановились в отеле «Европа», посетили директора земельного департамента и получили 12000 акров неводеланной земли в Чубуте.

— А там нет бандитов? — спросили они. И были рады услышать, что нет.

Через несколько недель валиец Мильтон Робертс, полицейский комиссар из Эскеля, видел их в палатке возле Чолилы; он обратил внимание на их стремительных чистокровных скакунов, стоявших под седлом. Бутч, как мы знаем

¹ Уилл Роджерс (1879–1935) — индеец племени чероки, «ковбой-философ», известный актер, журналист, общественный деятель, в молодости пытался обосноваться в Аргентине, где провел в 1902 году несколько месяцев с гаучо.

² Слово **place** — анаграмма слова **carpel**.

из письма, в ту первую зиму был один. Он разместил на ферме овец, купленных у соседа-англичанина, а хижина, такая же как в Сирклевилле, только больше, была готова уже к июню.

На следующий год сыщик из агентства Пинкертона Фрэнк Димайо с помощью виннемуккской фотографии проследил их путь до самой Чолилы, но не поехал в Патагонию, наслушавшись рассказов о змеях и джунглях. Может быть, эти рассказы спасли ему жизнь. В течение пяти лет никто не мешал «маленькой семье из трех человек» использовать Чолилу в качестве базы. Они построили там каменный дом и скромный магазинчик, заведовать которым поставили «другого североамериканца» (теперь им владеет торговец-араб).

Местные считали их законопослушными гражданами. В Чолиле я разговаривал с внуками их соседки, сеньоры Бланки де Герес. Сама она умерла три года назад, но перед смертью написала о них:

Их не слишком тянуло к обществу, но приличий они никогда не нарушали. Они часто почевали у нас в доме. Райан был более общительным, чем Плейс, и участвовал во всех наших празднествах. Во время первого визита губернатора Лесаны Плейс играл самбу на своей гитаре, а Райан танцевал с дочерью дона Вентуры Солиса. Никто и не подозревал, что это преступники.

Из агентства Пинкертона главе полиции Буэнос-Айреса писали: «Очень скоро эти люди совершат налет и в Аргентинской Республике, это только вопрос времени». Сыщики не ошиблись. Не говоря уж о том, что деньги заканчивались, «маленькая семья из трех человек» не мыслила жизни без налетов, без этого им было просто скучно. Может быть, их подстегнул еще и приезд их приятеля Харви Логана. В 1903 году Логан ускорил свое освобождение из тюрьмы в Ноксвилле, штат Теннесси, придушив своего охранника проволокой, которую прятал в башмаке. Он появился в Патагонии под именем Эндрю Даффи — псевдоним, который он взял себе еще в Монтане.

В 1905 году возрожденная Дикая банда объявилась вновь и ограбила банк в южной части Санта-Крус. Второе представление они дали в «Банко де ла Насьон» в Вилла-Мерседес в Сан-Луисе летом 1907-го. Кажется, именно Харви Логан прострелил тогда голову управляющему. Этта тоже была там, переодетая мужчиной, — факт, косвенно подтвержденный Бланкой де Герес: «Сеньора коротко остригла волосы и надела парик».

В декабре 1907 года они спешно продали свой бизнес в Чолиле мясному синдикату и растворились в Кордильерах. Никто из их соседей больше о них не слышал. Мне рассказывали несколько версий их отъезда. Но самая необычная была та, в которой говорилось, будто Этта скучала, ее беспокоил аппендицит и она потребовала отвезти ее в Денвер на операцию. Есть и другой вариант: аппендицит был эвфемизмом для беременности, а отцом ребенка мог быть молодой англичанин Джон Гарднер, для поправки здоровья поселившийся на ранчо в Патагонии. Говорят, что Логану пришлось убрать Гарднера подальше от Сандэнса Кида, и он отправил англичанина обратно в его семейное поместье в Ирландии.

Этта, судя по всему, в 1924 году жила в Денвере. (Ее дочерью могла быть одна весьма амбициозная молодая девушка по имени Бетти Уивер, провернувшая пятнадцать громких ограблений перед тем, как ее арестовали и приговорили к заключению в тюрьме Бельплейн, штат Канзас, в 1932 году.) Один старик рассказывал мне, сидя в кресле-качалке у себя на веранде, что он встречал Бутча Кэссиди в 1908 году в Эшли, штат Юта. Но даже если тем летом они и вернулись назад, земля горела у них под ногами, и уже в декабре оба бандита оказались в Боливии, где нанялись к человеку по фамилии Сиберт на оловянный рудник в Конкордии.

¹ Сан-Винсенте — полузаброшенная шахтерская деревня в боливийском департаменте Потоси, недалеко от границы с Аргентиной. Как показали исследования ДНК, сделанные в 1991 году американскими судмедэкспертами, в могиле Бутча Кэссиди на деревянном кладбище на самом деле похоронен немецкий инженер, работавший на шахте примерно в то же время.

Классическое описание их гибели в Сан-Винсенте¹, Боливия, в декабре 1909 года, после того как они выкрали все деньги, предназначенные для зарплаты рудничным рабочим, принадлежит Артуру Чапмену², певцу Дикого Запада. Оно было опубликовано в «Элкс мэгэзин» в 1930 году. Это идеальный сценарий для кинематографа: смертельный выстрел в храброго капитана кавалерии, пытавшегося арестовать двух гринго; измазанные грязью стены двора, устланного телами мертвых мулов; неравная схватка: сначала Кид ранен, потом его выстрелом в голову убивает Бутч, который, совершив свое первое убийство, приберегает последнюю пулю для себя. Эпизод заканчивается тем, как боливийские солдаты находят часы от Тиффани, принадлежавшие Эгте, на теле одного из погибших.

Никто не знает, откуда Чапмен взял эту историю: возможно, ее придумал сам Бутч Кэссиди. Его целью в конце концов было «умереть» в Южной Америке и возродиться под новым именем. Перестрелку в Сан-Винсенте позднее расследовал покойный президент Рене Барриентос, убийца Че Гевары, который и сам был страстным поклонником историй о Диком Западе. Он собрал целую команду для раскрытия этой загадки, лично допрашивал деревенских жителей, эксгумировал трупы на кладбище, проверил армейский и полицейский архивы и сделал вывод, что все это было подделкой. Не поверили в это и в агентстве Пинкертона. У них была своя версия, основанная на скудных свидетельствах о том, что все члены «маленькой семьи из трех человек» погибли в перестрелке с уругвайской полицией в 1911 году. Через три года агентство согласилось признать, что Бутч Кэссиди мертв, — чего, собственно, Бутч и добивался бы, останься он в живых.

¹ **Артур Чапмен** (1873–1935) — поэт, автор романтических произведений о ковбоях.

² **Панчо** (или Франсиско) **Вилья** (наст. имя Хосе Доротео Аранго Арамбула, 1878?–1923) — один из самых известных генералов мексиканской революции и гражданской войны 1911–1920 годов. После убийства президента Мадеры был объявлен вне закона и возглавлял восстания против новых властей, финансируя свою армию за счет экспроприации крупных поместий и ограблений поездов.

«Чепуха!» — говорили его друзья, услышав вести из Южной Америки. Бутч не ввязывается в перестрелки. И с 1915 года сотни людей видели — или думали, что видели, — как он перевозил оружие для Панчо Вильи¹ в Мексике, искал золото вместе с Уайаттом Эрпом¹ на Аляске, разъезжал по Западу на «форде-Т», навещал старых подружек, которым запомнился изрядно располневшим, или участвовал в шоу «Дикий Запад»² в Сан-Франциско.

Я побывал у главной свидетельницы его возвращения — его сестры миссис Лулы Паркер Бетенсон, прямодушной энергичной женщины за девяносто, которая всю жизнь посвятила служению демократической партии. У нее нет никаких сомнений: осенью 1925 года ее брат вернулся и отведал черничного пирога со своей семьей в Сирклевилле. Она полагает, что он умер от воспаления легких в штате Вашингтон в конце 1930-х. По другой версии, он встретил свой конец в каком-то городе в восточных штатах — отставным инженером путей сообщения и отцом двух замужних дочерей.

¹ Уайатт Эрп (1848–1929) — один из лучших стрелков Дикого Запада, знаменитый ковбой, охотник, игрок и служитель закона, герой множества вестернов.

² Шоу «Дикий Запад» — популярнейшее цирковое представление Баффало Билла, гастролировало даже по Европе и в последние годы включало до 1200 артистов.

Недалеко от Чолилы узкоколейная железная дорога вела обратно в Эскель. Станция была миниатюрная. У кассира было лицо человека, выпивающего в одиночку. В конторе висела фотография нежного юноши из среднего класса с набриолиненными волосами, он разыскивался за убийство сотрудника компании «Фиат». Все служащие железнодорожной станции были одеты в светло-серую униформу с золотой тесьмой.

Паровозу было около восьмидесяти лет, он был сделан в Германии, имел высокую трубу и красные колеса. В первом классе запах еды втялся в обивку и наполнял вагон ароматами вчерашнего пикника. Вагоны второго класса были чистые, светлые, крашенные в гороховый цвет, с серовато-синими сиденьями и дровяной печкой в середине.

На этой печке какой-то мужчина кипятил голубой эмалевый чайник для мате. Пожилая дама разговаривала с любимой геранью, а два альпиниста из Буэнос-Айреса уселись прямо на ворохе снаряжения. Они были умны, нетерпимы, явно получали мизерные зарплаты и исключительно плохо отзывались о Соединенных Штатах. Остальными пассажирами были индейцы-арауканы.

Поезд отправился в путь с двумя свистками и внезапным толчком. Пока мы ехали, от дороги то и дело отскакивали страусы, чье пышное белое оперение вздымалось и волновалось, как пар. Серые горы поблескивали в тумане наступившей жары. Время от времени какой-нибудь грузовик пачкал горизонт мутным пылевым облаком.

Один индеец некоторое время следил за альпинистами, а затем подсел к ним, чтобы затеять ссору. Он был очень пьян. Я откинулся на сиденье и стал наблюдать за историей Южной Америки в миниатюре. Юноша из Буэнос-

Айреса вынес не более получаса оскорблений, потом встал и указал индейцу на место.

Индеец склонил голову и сказал: «*Sí, Señor. Sí, Señor*»¹.

Индейские поселения вытянулись вдоль железнодорожной линии так, чтобы пьяный всегда мог попасть домой. Индеец подъехал к своей станции и кое-как слез с поезда, унося с собой остатки джина. Разбитые бутылки поблескивали на неярком солнце возле лачуг. Какой-то парнишка в желтой ветровке тоже сошел и проводил его до дома. Собака, лежавшая в дверях, встала и, подбежав, облизала ему лицо.

¹ *Sí, Señor* — да, господин (исп.).

Вдоль Южных Анд повсюду можно услышать о *bandoleros norteamericanos*¹. Эту историю я взял из второго тома «*Memorias de un Carrero Patagónico*»² Асенсио Абейхона.

В январе 1908 года (то есть через месяц после того, как Буч Кэссиди продал Чолилу) один человек, ехавший по Пампа-де-Кастильо, повстречал четырех всадников с несколькими чистокровными лошадьми — трое гринго и с ними пеон-чилиец. У них были винчестеры с деревянными прикладами. Один из гринго оказался женщиной, которая переделалась в мужчину. Путешественник не подумал ничего особенного — все гринго одеваются странно.

В тот же вечер три всадника остановились в гостинице Круса Абейхона в Ла-Мате. Женщины с ними не было — только двое *norteamericanos* и чилиец. Они сказали, что подыскивают себе землю. Тот, что пониже, был веселым и разговорчивым, звали его Боб Эванс. Он много говорил на хорошем испанском и играл с детьми Абейхона. Другой — высокий, светловолосый — был угрюм и молчалив. Его звали Уилли Уилсон.

После завтрака гринго спросили у Абейхона название лучшей гостиницы в Комодоро-Ривадавии, чилийца оставили при лошадях и поскакали в город, до которого было три мили. Тогда, до нефтяного бума, Комодоро был крохотным поселением, стиснутым между утесом и морем. Вдоль его единственной улицы расположились салезианская церковь³, отель «Васконгада» и «Каса Лахусен» — мага-

¹ *Bandoleros norteamericanos* — американские бандиты (исп.).

² «*Memorias de un Carrero Patagónico*» — «Воспоминания патагонского возчика» (исп.).

³ Салезианство — течение в католицизме, основанное в середине XIX века итальянским священником Доном Боско, впоследствии канонизированным, названное в честь святого Франциска Сальского; Дон Боско видел свою задачу в том, чтобы уберечь католическую молодежь от бездушия мира урбанизации.

зин, торговавший всем необходимым, он же и банк. Американцы выпили со всеми уважаемыми жителями города и продолжили свои расспросы о земле. Они оставались там неделю. Однажды утром полицейский комиссар застал их за стрельбой на берегу моря. «Просто тренируемся», — отшутились они, и комиссар дон Педро де Барроса, обследовав винчестеры, с улыбкой вернул их владельцам.

Американцы вернулись в Ла-Мату. Боб Эванс раздал детям Абейхона ириски. Утром они снова уехали, на этот раз с лошадьми и пеоном, а Абейхон обнаружил, что телефонный провод перерезан.

В час дня пополудни 3 февраля было жарко и ветрено, обитатели Комодоро обедали. Уилсон и Эванс привязали свободных лошадей к коновязи на границе города и поехали в сторону «Каса Лахусен». Эванс остановился у главной двери. Уилсон и пеон отправились к заднему крыльцу. Они спешили, и чилиец взял лошадей под уздцы. Случайный прохожий слышал, как эти двое спорят, потом он увидел, что пеон подскочил и спрятался за лошадь, а Уилсон выстрелил и попал ему в руку: пуля рассекла руку и прошла навывлет через плечо, и пеон повалился на мешки с шерстью.

Комиссар Баррос услышал выстрелы и нашел Уилсона скорчившимся, державшимся за грудь. «Эта свинья меня подстрелила», — сказал он. Баррос велел ему отправиться в участок и все объяснить. «Нет», — сказал Уилсон и вытащил пистолет, «его голубые глаза сверкали, как у дьявола!». Эванс с криком «Остановись, дурак!» подстегнул лошадь, направляя ее между ними, и толкнул Барроса так, что тот тоже опрокинулся на мешки с шерстью.

Американцы прыгнули в седла, отвязали остальных своих лошадей и на рысях поскакали прочь из города. На все это не ушло и пяти минут. Баррос побегал в участок и начал бестолково палить из пистолета-пулемета. Четверо верховых полицейских пустились в погоню, но вскоре вернулись обратно. В ту же ночь один баск слышал, как американцы распевали у костра под аккордеон.

А в Комодоро пеон уже был за решеткой; выяснилось, что в самый последний момент он потребовал у Уилсона большей доли.

Из Эскеля я двинулся на юг, по следам еще одного приключения Уилсона и Эванса.

25

Старая дорога до Арройо-Пескадо пробивалась сквозь колючие заросли и упиралась в полосу зелени, где река выходила из холмов и разливалась в поросшую камышом лагуну. Сверкая оранжевым и черным, с воды поднималась стая фламинго, обдирая добела голубую поверхность лагуны своими длинными ногами. Часть каменистого берега была усыпана мусором: битые бутылки, жестяные банки — все, что осталось от магазина «Компания Меркантиль де Чубут», который держали валлийцы.

29 декабря 1909 года, после обеда, директор магазина, бывший атлет из города Бала по имени Ллуид Ап-Иуан, вышел из магазина и отправился через дорогу домой выпить чаю. Руки его до локтей были перевязаны бинтами: ему пришлось голыми руками тушить неизвестно откуда взявшийся ночной пожар. Несколькими минутами позже его помощник Бобби Робертс, придурковатый религиозный фанатик, позвонил сказать, что Уилсон и Эванс зашли купить гвоздей. То были постоянные покупатели, хорошо известные в Кордильерах возчики и отличные стрелки.

АпИуан вернулся и увидел Эванса, тот прикрывал собой громко воющего Бобби Робертса. Под дулом пистолета Уилсон провел АпИуана в контору и велел ему открыть сейф.

— В сейфе ничего нет, — ответил АпИуан.

Но Уилсон думал иначе. Компания должна была получить плату в золотых соверенах за настриг шерсти. АпИуан открыл сейф и показал ему несколько аргентинских банкнот.

— Это деньги индейцев, — сказал он. — Не повезло вам. Соверены еще не пришли.

Уилсон согласился не брать индейских денег и крикнул об этом Эвансу. Пятясь, он стал выходить из конторы, зацепился шпорой за индейский ковер, потерял равновесие, валлиец прыгнул на него, и он упал. АпИуан дотянулся до револьвера и умудрился выстрелить, несмотря на забинтованные руки. Но в револьвере не было курка: Уилсон загодя сбил его и испортил механизм. Вытащив свой мини-револьвер, висевший на шее, он выстрелил валлийцу в сердце.

Преступники уехали дальше на юг в свой лагерь в Рио-Пико. Чтобы не потерять след, я отправился туда же и вновь оказался на трассе. Меня подобрал водитель грузовика, перевозивший шерсть. Он был в черной рубашке, расшитой розовыми цветами; в дороге он слушал Пятую симфонию Бетховена. Пейзаж был пустынен, холмы покрылись золотом и пурпуром в лучах заходящего солнца.

У телеграфного столба мы увидели одинокую фигуру.

26

У него были светлые волосы, и он ехал на юг. Волосы падали ему на лоб, и он откидывал их, встряхивая головой. Он был нежного сложения, телом походил на девушку, старался не улыбаться, скрывая ряд потемневших зубов. Он горняк, сказал он. Ищет работу на руднике.

При нем была страница, выдранная из старого тома «Национальной энциклопедии», с картой аргентинских рудников. В Рио-Пико имелся золотой прииск.

Он был из тех, кто первыми назвал себя «детьми цветов» в районе Хайт-Эшбери, Сан-Франциско. Однажды, когда он был голоден, он поднял недоеденную плитку шоколада «Херши» с тротуара на Хайт-стрит. Этот случай глубоко запечатлелся в его памяти, и он упомянул о нем несколько раз.

В Сан-Франциско врачи перевели его на метадон¹, а полностью справиться с зависимостью он сумел, когда устроился на свой первый рудник. Рудники — это что-то исконное, сказал он, там чувствуешь себя в безопасности. Когда он работал на руднике в Аризоне, у него был собственный дом и отличная зарплата — правда, только до тех пор, пока к нему не пожаловала налоговая инспекция. Эти проклятые инспектора! И тогда он сказал себе: «С меня хватит. Поеду в Южную Америку, найду себе там новый рудник».

Мы помогли водителю сменить колесо, и он поставил нам по стаканчику в Гобернадор-Косте. Я спросил лавочника-валлийца о руднике в Рио-Пико. Тот сказал, что рудник закрылся пятьдесят лет назад. Ближайшим был каолиновый рудник в Апелеге.

¹ **Метадон** — синтетический опиоидный анальгетик, по эффекту схожий с морфием или героином и подчас вызывающий привыкание. Используется для лечения наркотической зависимости.

— Что это, каолин?

— Белая фарфоровая глина.

— Белая чё? Чё, правда белая? Белая! Боже ж ты мой! Белый рудник! И где он, говоришь?

— В Апелеге.

— А где это — Апелег?

— Сто километров на юг, — сказал валлиец. — Потом есть еще угольная шахта в Рио-Турбио, но там битум, и тебе там не стоит работать.

У шахтера не было денег, а паспорт украли. За ужин заплатил я. Он сказал, что утром двинет на юг. Старик, все будет в норме. Главное — найти свой рудник.

27

Отель в Рио-Пико был выкрашен в бледно-бирюзовый цвет. Он принадлежал еврейской семье, для которой понятие выгоды было лишено всякого смысла. Длинный ряд комнат тянулся вокруг двора, где расположились водонапорная башня и окруженные перевернутыми бутылками клумбы, на которых пылали неукротимо оранжевые лилии. Отелем владела отважная и печальная женщина в черном с тяжелыми веками, она скорбела о смерти своего сына-первенца со страстью истинно еврейской матери. Он был саксофонистом, уехал в Комодоро-Ривадавию и там умер от рака желудка. Женщина ковыряла колючкой в зубах и смеялась над тщетой всего сущего.

Ее второго сына звали Карлос Рубен, мальчик с оливковой кожей и мерцающими глазами семита. Он тосковал по большому миру и хотел поскорее раствориться в нем. Дочери в ковровых тапочках бесшумно ходили по комнатам с выскобленными полами и голыми стенами. Хозяйка приказала принести ко мне в комнату полотенце и розовую герань.

Утром у нас с ней вышел спор по поводу счета.

— Сколько стоила комната?

— Ничего не стоила. Если бы вы там не спали, там бы не спал никто.

— Сколько стоил обед?

— Нисколько, мы же для себя готовили. Откуда нам было знать, что вы приедете?

— А за вино?

— Мы всех угощаем вином.

— А как насчет мате?

— Ну кто же платит за мате!

— Тогда за что же я могу заплатить? Остались только хлеб и кофе.

— За хлеб я брать с вас не могу, а вот *café au lait*¹ пьют только гринго, и за него давайте-ка заплатите.

Солнце стояло высоко. Столбы дыма вертикально поднимались над каминными трубами. Раньше Рио-Пико был немецкой колонией Нуэва-Алемания², и дома выглядели по-немецки. Кисти бузины терлись о дощатые стены. Около бара стоял лесовоз, отправлявшийся высоко в горы.

¹ *Café au lait* — кофе с молоком (фр.).

² **Нуэва-Алемания** (исп. *Nueva Alemania*) — Новая Германия.

Лас-Пампас находился в двадцати милях от Рио-Пико — последнее поселение перед границей. К северу возвышался Эль-Коно, потухший вулкан, его склоны были белые, как кость, а снег на вершине еще белее. По белесым камням в долине бежала быстрая зеленая река. При каждой бревенчатой хижине имелся картофельный участок, защищенный от скота изгородью или частоколом.

В Лас-Пампас жили две семьи, Патрочинио и Солис. Каждая обвиняла другую в угоне скота, но Государственную лесозаготовочную компанию ненавидели обе, и эта ненависть делала их друзьями.

Было воскресенье. Одному из Патрочинио, владельцу бара, бог даровал сына, и он решил отметить это событие, устроив асадо. Гости съезжались верхом в течение двух дней. Их лошади стояли привязанными на конюшне, лассо и болас¹ были заткнуты за подпруги. Мужчины беззаботно разлеглись на траве, пили вино из мехов и грелись у огня. Солнце рассеяло молочный туман, висевший лоскутами над долиной.

Ральф Майер, гаучо, в котором смешалась индейская и немецкая кровь, занимался разделкой мяса. Это был тощий и молчаливый человек с могучими красными руками. Одет он был во все шоколадно-коричневое и всегда носил шляпу. У него был нож, сделанный из штыка, с рукояткой из пожелтевшей слоновой кости. Каждую овцу он клал на помост и раздевал тушу до тех пор, пока розовая, сияющая, с задранными к небу ногами, она не оставалась лежать на белой подкладке из собственной шерсти. Затем Майер вонзал острие в то место, где кожа туго натягивается на животе,

¹ Болас — метательное оружие, веревка с несколькими шарами на концах.

и тогда горячая кровь обдавала струей его руки. Майеру это нравилось. Было видно, что ему это нравится, по тому, как он опускал веки и оттопыривал нижнюю губу и сквозь зубы всасывал воздух. Он вытягивал внутренности, выбирал из них почки и печень, а остальное бросал собакам.

Он принес к огню пять освежеванных туш и каждую из них распял на наклонно установленном железном кресте.

После полудня с Кордильер начали приходиться ветер и снежные шквалы. Мечтательный молодой человек с волосами, как пакля, поддерживал огонь, а остальные играли в таба. Таба — это коровья таранная кость, ее бросают с десяти шагов в круг, начерченный на земле. Если кость падает на вогнутую сторону, это считается суэрте (удача), и игрок выигрывает, если на выпуклую — это куло (задница), и он проигрывает, а если на бок — это вне игры. Хороший игрок знает, как закрутить кость при броске, чтобы выпало суэрте. Конечно, есть множество шуток насчет куло. Я был куло много раз и потерял много денег.

Когда стемнело, Патрочинию стал играть на аккордеоне, а мечтательный молодой человек пел гнусавым голосом. Девушки надели кретоновые платья, и парни танцевали с ними на расстоянии вытянутой руки.

29

Человек по имени Флорентино Солис предложил подняться верхом на гору вместе со мной. Его обожженное солнцем лицо было ровного ярко-красного цвета, а когда он снимал шляпу, становилась видна четкая граница, за которой кончался красный цвет и начинался белый. Это был скиталец, не имевший ни жены, ни дома, не владевший ничем, кроме двух лоснящихся пони *criollo*¹, их седел и собаки.

Несколько коров, помеченных его клеймом, бродили в лугах, поросших грубой травой, у самой границы, но обычно Солис о них и не вспоминал. Сейчас он приехал обменять корову на бакалейные товары и остался на асадо. В компании он держался неловко, совсем не пил и весь день просидел у ручья, ковыряя в зубах стебельком.

Утро было холодным. Кучевые облака громоздились на горных вершинах. Солис надел кожаные ковбойские штаны и взобрался на своего пегого, Патрочинио одолжил мне черного мерина, и мы перешли реку вброд. Вода доходила обоим пони до подпруги, но они твердо стояли на ногах. Около часа мы ехали по крутым склонам долины, дорога то извивалась по самому гребню красных скал, то утопала среди высоких деревьев. Еще час, и мы оказались на голом утесе. Солис кивнул на прогнившую грудку бревен и произнес:

— Это была тюрьма Рамоса Отеро.

Рамос Луис Отеро был молодым баламутом из знатной семьи, он ходил в хорошей одежде, сношенной до дыр, и любил мыть грязные бидоны из-под похлебки. Он ненавидел женщин, терпеть не мог салонную атмосферу Буэнос-Айреса и поселился в Патагонии, притворившись обычным

¹ *Criollo* — метис, полукровка (исп.).

батраком. Год он проработал на правительственную геодезическую экспедицию, а потом, когда его обман раскрылся, купил эстансию Пампа-Чика, в Корковадо, на полпути между равниной и горами.

В последнюю неделю марта 1911 года Отеро и его пеон Кинтанилья ехали в эстансию на подводе с двумя лошадьми. Переезжая Каньядон-дель-Тиро, они увидели двух всадников, скачущих навстречу. Один из них, улыбаясь, помахал Отеро, чтобы тот ехал следом. Другой, проезжая мимо, выхватил у него поводья. Всадники были американцами.

Они отпустили лошадей и заставили Отеро и пеона отправиться с ними в горы. Подъехав к утесу, американцы срубили несколько деревьев и соорудили клеть из стволов, связанных сыромятными ремнями. Отеро особенно не понравился высокий блондин по имени Уилсон, взваливший всю работу на своего приятеля.

Засаженный в тюрьму, Отеро был близок к самоубийству, а Кинтанилья пожелтел от страха. Тюремщики выпускали их дважды в день — поесть и справить нужду. В банде было несколько человек, только гринго — североамериканцы или англичане. Через две недели один из них случайно уронил спичку. Отеро поднял ее, развел огонь на земле и стал углями прожигать ремни. К вечеру он смог немного отодвинуть одно из бревен, и узники бежали.

Вырвавшись на свободу, Отеро разразился потоком истерических обвинений. Приехали его братья, привезя с собой выкуп, но он обвинил их в том, что они сами же и подстроили похищение, чтобы вынудить его покинуть Патагонию. Он не был здоровым молодым человеком, и в полиции ему не верили до тех пор, пока он не привел полицейских на тот самый утес. Тогда его история стала национальной сенсацией.

Министр внутренних дел объявил охоту на преступников, желая очистить от них Кордильеры. В декабре 1911 года Уилсон и Эванс спустились в Рио-Пико сделать покупки в магазине двух немцев, братьев Хан. Братья Хан,

основатели колонии, предупредили своих американских друзей, что весь район патрулируют пограничники. У Уилсона опухла и гноилась рука — по его словам, он перезаряжал ружье, и патрон взорвался. Донья Гильбермина Хан перевязала ему рану, и они уехали обратно в свое убежище в горах.

Но Эванс положил глаз на жену одного из Солисов. Тот знал, где они скрываются, и провел туда патрульных. Эванс обедал под деревом. Уилсона лихорадило, и он лежал в палатке. Офицер, лейтенант Бланко, прокричал из-за дерева:

— ¡Arriba las manos!

Эванс начал стрелять, убил одного солдата, ранил другого, рядового Педро Пеньяса (который дожил до 1970 года и в возрасте 104 лет рассказывал об этом в Роусоне). Солдаты открыли ответный огонь и застрелили Эванса. Уилсон выбежал из палатки и побежал, босиком, среди деревьев, но вскоре солдаты уложили и его — рядом с другом. На телах обнаружили золотые часы и фотографию una mujer hermosísima², как свидетельствует Педро Пеньяс.

На обратном пути в Лас-Пампас, когда я уворачивался от низких ветвей, преграждавших нам путь, у меня лопнула подпруга, и лошадь скинула меня на острые камни. Посмотрев вверх через кусты, я увидел грустную маску Солиса, неожиданно растянувшуюся в улыбке:

— Ноги! — рассказывал он позже Патрочинио. — От этого гринго только ноги было видно.

Рука была порезана до кости, и мы спустились в Рио-Пико, чтобы ее перевязать.

¹ ¡Arriba las manos! — Руки вверх! (исп.)

² Una mujer hermosísima — очень красивая женщина (исп.).

Врач с трудом протолкнулась сквозь дверь-вертушку. Ее ноги показались мне какими-то странными. У нее были маленькие белые руки и грива желтых седеющих волос. Она заворчала на меня по-английски, но я знал, что она русская. Двигалась она с той медлительной плавностью, что обычно спасает тучных русских женщин от неуклюжести. Глаза были прищурены, словно она старалась ничего не видеть.

В ее комнате были красные подушки и занавески из красных лоскутов, а на стенах две картины на русские темы — пейзажи, намалеванные по смутным воспоминаниям такого же, как она, изгнанника: черные сосны и оранжевая река; свет, падающий сквозь стволы берез на белые дощатые стены дачи.

На каждое свободное песо она заказывала книги в «ИМКА-Пресс», в Париже. Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Гумилев, Ахматова, Солженицын — эти имена, скапываясь с ее языка, рокотали, точно звуки литании. Благодаря самиздатовским оттискам она была в курсе всех перипетий советского диссидентства. Она с жадностью ловила вести о новых изгнанниках. Что произошло с Синявским в Париже? Что станет с Солженицыным на Западе?

У нее была сестра, учительница на Украине. Она часто писала сестре на Украину, но вот уже много лет не получала в ответ ни строчки.

Я сказал, что Патагония напоминает мне Россию. Она нахмурилась. Разве Рио-Пико хоть чем-то напоминает Урал? В Аргентине ничего нет — только овцы да коровы, да люди, похожие на овец и коров. И в Западной Европе ничего нет.

— Полное разложение, — сказала она. — Запад заслуживает, чтоб его проглотили. Возьмите, например, Англию.

¹ «ИМКА-Пресс» — русское эмигрантское издательство в Париже.

Терпят гомосексуализм. Отвратительно! Я чувствую одно... Я точно знаю одно... Будущее цивилизации в руках славян.

В разговоре я несколько сдержанно отозвался о Солженицыне.

— Да что вы можете в этом понимать? — набросилась она на меня. Я сказал ересь. Каждое слово Солженицына истинная правда, абсолютная, чистейшая правда.

Я спросил, как она попала в Аргентину.

— Я была медсестрой во время войны. Попала в плен к нацистам. Когда все закончилось, я оказалась в Западной Германии. Вышла замуж за поляка. У него здесь была семья.

Она пожала плечами и оставила меня теряться в догадках.

А затем я вспомнил историю, как-то рассказанную мне одной итальянкой. Еще девочкой, в конце войны, эта итальянка жила недалеко от Падуи. Однажды ночью она услышала, как в деревне кричат женщины. Женщины кричали так, что и годы спустя у нее в ушах раздавались эти ужасные вопли и она просыпалась по ночам. Много времени прошло, прежде чем она наконец спросила у матери, что это было, и мать сказала: «Это кричали русские медсестры, которых Рузвельт и Черчилль возвращали Сталину. Их запикивали в грузовики, и они знали, что едут домой умирать».

Розовая пластмасса искусственных ног просвечивала через чулки моего врача. У нее не было обеих ног ниже колен. Возможно, ампутация спасла ей жизнь.

— Вы, вот вы были в России — скажите, разрешат мне вернуться? — спросила она. — Я же не против коммунистов. Я бы все сделала, лишь бы вернуться.

— Там многое поменялось, — сказал я, — теперь «разрядка напряженности».

Она хотела в это верить. Но потом, с той тоской, которая не вмещается в слезы, она сказала:

— «Разрядка напряженности» для американцев, а не для нас. Нет. Вернуться туда мне будет небезопасно.

В миле от поселка обитала еще одна изгнанница.

Эта женщина ждала меня — белое лицо в пыльном окне. Она улыбнулась, и на помаженный рот распустился в улыбке — точно красный флаг, подхваченный случайным бризом. Волосы были выкрашены в темно-каштановый цвет. Ноги ее были месопотамией варикозных вен. И все же было ясно, что когда-то она была необычайно хороша.

Она как раз делала пирог, и серое тесто липло к ее рукам. Кроваво-красные ногти растрескались и слоились.

— *J'aime bien la cuisine*, — сказала она. — *C'est une des seules choses que je peux faire maintenant*¹.

По-французски она говорила медленно, запинаясь, но ее лицо прояснялось всякий раз, когда она вспоминала выражения, знакомые с детства. Она взяла цветную фотографию своего родного города и начала перечислять названия набережных, улиц, парков, фонтанов и проспектов. Вместе мы бродили по довоенной Женеве.

Давным-давно она пела в опереттах и кафешантажах. Она приехала в Аргентину — страну открытых возможностей и танго — в начале 1930-х. Она показала мне песню собственного сочинения «*Novia Pálidia*» — «Бледная невеста». В темпе медленного вальса. На зеленой обложке нот была напечатана ее фотография 1932 года, где она в матросском костюме с широким белым воротником стоит, опираясь на белые корабельные перила, и улыбается загадочной улыбкой.

На каком-то жизненном изломе она вышла замуж за круглолицего шведа. Две неудачные судьбы соединились в одну, и они поплыли по течению на край света, застряли

¹ *J'aime bien la cuisine. C'est une des seules choses que je peux faire maintenant* — Я люблю готовить. Это одно из немногих дел, которые я еще могу делать (фр.).

в здешнем водовороте и построили коттедж, в точности как в его родном Мальме: с такими же умными окнами и красными деревянными рейками, покрашенными окисью железа.

Швед умер пятнадцать лет назад, а она осталась в Рио-Пико. Их сын стал водителем грузовика. Он носил клетчатые рубашки и красный платок на шее, но стоило ему расслабиться, как его лицо оседало в нордической мрачности.

Две комнаты ее квартиры были смежными, пространство разделялось при помощи пластиковых штор. Она расписала шторы в технике троплей, под алый бархат театральных занавесей, забранных шнурами с золотыми кистями.

— Я все еще немного могу рисовать, — сказала она.

Каждый дюйм своих стен она покрыла фресками, одни были выполнены красками, другие — цветными карандашами.

Желтое солнце катилось над пампой и вкатывалось в комнату. Оно играло на парусах яхт, дрейфующих где-то в летний день, на верандах кафе, увешанных японскими фонариками, на стенах Шильонского замка, горных шале и Иль-де-Пёплийер.

Она вырезала из дерева маленькие личики ангелов, нарисовала им розовые щеки и пристроила их вокруг карниза. На одной стене помещалась небольшая картина, сделанная масляными красками: солнечный пейзаж, расщепленный темным ущельем. На дне ущелья лежали скальпы и кости, а над ними повис шаткий мост. Посередине моста стояла маленькая девочка с белым испуганным лицом и рыжими волосами, струящимися по ветру. Казалось, она вот-вот упадет, но золотой ангел с высоты протягивал ей руку.

— Мне нравится эта картина, — сказал она. — Это мой ангел-хранитель. Мой ангел, который всегда меня спасал.

Открытый экземпляр «Бледной невесты» лежал на пюпитре пианино. Местами слоновая кость на клавишах

отбилась, там зияли черные дыры. Я заметил, что она покрыла лаком не каждый ноготь. Одни были красными. Другие оставались ненакрашенными. Возможно, ей просто не хватило лака для обеих рук.

Я попрощался с сопрано и отправился навестить немцев.

32

Обгоняя дождь, ветер разносил его запах вниз по долине — запах мокрой земли и благоухающих растений. Старуха забрала в дом мокрое белье и унесла с террасы плетеные стулья. Старик, Антон Хан, надел ботинки и дождевик и пошел в сад проверить, хорошо ли прочищены дренажные канавы. Его пеон вернулся из амбара с пустой бутылкой, и женщина налила в нее яблочной чичи. Пеон был уже пьян. Два рыжих вола, запряженные в телегу, жались друг к другу, предчувствуя ненастье.

Старик обошел свой огород и яркий цветник с однолетними цветами. Убедившись, что ни одна капля дождя не пропадет впустую, он вернулся в дом. За исключением металлической крыши ничто не отличало этот дом от любого деревенского дома в Южной Германии — с белой штукатуркой, покрывающей простенки между деревянными балками, с серыми ставнями, калиткой в заборе, выскобленными полами, раскрашенными панелями, с люстрами из оленьих рогов и литографированными видами Рейна.

Антон Хан снял свою твидовую шапочку и повесил ее на люстру, снял ботинки и парусиновые гамаши и надел тапки на веревочной подошве. У него была плоская макушка и морщинистое красное лицо. На кухню вошла маленькая девочка с хвостиком:

— Принести тебе трубку, Onkel¹?

— Bitte².

И она принесла большую пенковую трубку и насыпала в нее табаку из бело-голубой банки.

¹ Onkel — дядя (нем.).

² Bitte — пожалуйста (нем.).

Старик налил себе большую кружку чичи. Пока дождь стучал по крыше, он говорил о колонии Нуэва-Алемания. Его дядья осели здесь в 1905 году, а он присоединился к ним после Первой мировой.

— А что еще мне было делать? Наша родина была не в лучшем положении. До войны-то люди были нарасхват, в семьях сыновей не хватало. Этого в солдаты заберут, тот наймется плотником, другие на ферме... Но после 1918 года в Германии появилось столько беженцев от большевиков, даже в деревнях стало полным-полно народу.

Его брат жил на семейной ферме на границе Баварии и Вюртемберга. Они писали друг другу каждый месяц, но не виделись с 1923 года.

— Эта война была величайшей ошибкой в истории, — сказал Антон Хан. О войне он говорил постоянно. — Два народа высшей расы крушили друг друга. Вместе Англия и Германия могли бы править миром. А теперь даже Патагония возвращается *indígenas*¹. Как жаль.

Он продолжал оплакивать упадок Запада и в какой-то момент обронил имя Людвиг.

— Людвиг Безумный²?

— Король? Безумный? Вы называете короля безумным? В моем доме? Никогда!

Я должен был быстро что-то придумать.

— Кое-кто его так называет, — сказал я, — но он, конечно, был великим гением.

Однако Антона Хана было трудно утихомирить. Он встал. Поднял свою кружку.

— Вы выпьете со мной, — сказал он.

Я тоже встал.

— За короля! За последнего гения Европы! Величие моей расы погибло вместе с ним!

¹ *Indígenas* — индейцы (исп.).

² **Людвиг Баварский** (1846–1886) — король Баварии с 1864 года, покровитель искусств, строитель «сказочных» замков, по словам Вагнера, вдохновитель и соавтор тетралогии о кольце нибелунгов и «Парсифаля». Незадолго до смерти был признан сумасшедшим и отстранен от власти.

Старик пригласил меня поужинать, но я отказался, поскольку ужинал с сопрано два часа назад.

— Вы не уйдете из моего дома, не разделив с нами трапезу! Поешьте — и идите куда вздумается.

Так что я стал есть его ветчину, и маринады, и яйца цвета солнца и пить его яблочную чичу, которая ударила мне в голову. Затем я спросил об Уилсоне и Эвансе.

— Вот настоящие джентльмены, — отвечал он. — Они были друзьями нашей семьи, хоронили их мои дядья. Ну, это вот кузина хорошо знает.

Старуха была высокой и худой, желтеющая кожа свисала складками с ее лица. Седые волосы были подрезаны челкой над бровями.

— Да, я помню Уилсона и Эванса. Мне было тогда четыре года.

Был жаркий, безветренный день раннего лета. Пограничная полиция, восемьдесят человек, охотилась за преступниками по всем Кордильерам. Сами полицейские тоже были преступниками, в основном из Парагвая; чтобы присоединиться к ним, достаточно было быть белым или христианином. А в Рио-Пико все любили этих двоих североамериканцев. Ее мать, донья Гильермина, перевязала руку Уилсона прямо здесь, на кухне. Они легко могли уйти в Чили. Откуда им было знать, что тот индеец предаст их.

— Я помню, как принесли их тела, — рассказывала она. — Fronterizas¹ привезли их на телеге, запряженной волами. Они лежали здесь, за воротами, распухли от жары, вонь стояла страшная. Мать отслала меня в комнату, чтобы я не глядела. Потом офицер отрезал головы и поднялся по ступеням сюда, держа их за волосы. Он попросил у моей матери чего-нибудь спиртного, чтобы сохранить их. Понимаете, эта Agencia в Нью-Йорке платила пять тысяч долларов за каждую голову. Они хотели послать их туда и получить деньги. Отец страшно рассердился. Он закричал, чтобы они отдали ему и головы, и тела, и он похоронил их.

¹ Fronterizas — полицейские-пограничники (исп.).

Буря стихала. Серые столбы дождя встали над той стороной долины. Вдоль всего яблоневого сада тянулась посадка голубых люпинов. Где бы ни жили немцы, рядом с ними всегда будут голубые люпины.

Возле загона над небольшой насыпью торчал грубый деревянный крест. Оттуда поднимались вверх гибкие стебли пампасной розы, словно удобренные мертвыми телами. Я смотрел на серого луня, который парил и нырял в воздухе, на бескрайние травы и на грозовые тучи, наливавшиеся темно-красным.

Старик вышел и встал позади меня.

— Никто не захочет скинуть атомную бомбу на Патагонию, — сказал он.

33

Кто же такие Уилсон и Эванс?

Во тьме, покрывающей историю беззакония, все может быть, но у нас все же есть несколько зацепок.

29 января 1910 года полицейский комиссар Милтон Робертс прислал в агентство Пинкертона в Нью-Йорке описание убийц Ллуида АпИуана. Эвансу около 35 лет. Рост 5 футов 7 дюймов. Плотного сложения. Волосы рыжие, но, скорее всего, накладные. Уилсон моложе, около 25. Рост около 5 футов 11 дюймов. Стройный. Светловолосый. Загорелый. Ходит, выворачивая правую ногу. (Вспомните, что именно Уилсон, не Эванс, был первоклассным стрелком.)

Робертс добавил, что Уилсон был также компаньоном Даффи (Харви Логана) в Патагонии и Монтане, где они провернули ограбление поезда. Это мог быть только налет на поезд у городка Вагнер 3 июня 1901 года. В состав банды входили: Харви Логан, Бутч Кэссиди, Гарри Лонгбаф, Бен Килпатрик по кличке Высокий Техасец, а также О.-С.Хэнкс и Джим Торнхил, которые оставались при лошадях.

В письме Робертса подразумевалось, что Эванс, Уилсон, Райан и Плейс — это четыре разных человека. Однако все его описания полностью совпадают с описаниями Кэссиди и Кида — за исключением возраста, но это как раз не проблема: полицейский-валлиец никогда не видел преступников в лицо, а в Патагонии, как я успел обнаружить, у людей есть привычка занижать возраст лет на десять-пятнадцать.

Однако могила в Рио-Пико никак не вяжется с рассказом Лулы Бетенсон о возвращении ее брата, если только правда не заключается в следующем. Бутч Кэссиди, по слу-

хам, рассказал друзьям в Юте, что Сандэнс Кид был убит в Южной Америке, а сам он смог сбежать и вместе с одним индейским мальчиком отправился в идиллическое путешествие в духе Гекльберри Финна. Недавно я получил письмо от сеньора Франсиско Хуареса из Буэнос-Айреса, который, кажется, поддерживает эту мою догадку. Он поехал в Рио-Пико после моего визита, и ему сказали, что Эванс убежал от *fronterizas* и что рядом с Уилсоном похоронен какой-то англичанин из банды.

34

Я оставил Рио-Пико и приехал на шотландское овечьё пастбище. На воротах я прочел надпись: «Эстансия Лохинвер — 1,444 километра». Ворота были в превосходном состоянии. Столб был увенчан разрисованным навершием в виде чертополоха.

Я прошел упомянутые 1,444 километра пешком и оказался перед домом из рифленого железа, с двойными щипцами и высокой крышей, построенным в стиле, которому скорее подошел бы гранит. Хозяин-шотландец стоял на ступенях — большой жилистый человек с седыми волосами и черными бровями. Весь день он сгонял овец в стадо. На его выгоне паслись три тысячи голов.

— Этим-то нельзя верить на слово, что придут, когда сказали. В этой стране и поговорить-то не с кем. Им нельзя сказать, мол, вы тут напортачили: соберутся — и поминай как звали. Скажешь им, что сделали не так, — порежут животных в ключья. Ей-ей, эти мясники кромсают, а не стригут.

Его отец был мелким фермером на острове Льюис и уехал оттуда, когда начали открываться большие овцеводческие компании. Семья разбогатела, купила землю, немного выучила испанский и сохранила Шотландию в сердце своем.

Он носил килт и играл на волынке на каледонских балах. Одну волынку ему прислали из Шотландии, а другую он сделал сам, коротая долгую патагонскую зиму. В доме висели виды Шотландии, фотографии британской королевской семьи и фотография Уинстона Черчилля, выполненная Каршем¹.

— Ты-то знаешь, кто он был, или как?

¹ **Юсуф Карш** (1908–2002) — канадский фотограф армянского происхождения, прославился фотографией Черчилля, сделанной в 1941 году в Оттаве, после чего всю жизнь продолжал делать портреты знаменитостей.

Под королевой почтительно разместили банку с ирисками «Макинтош».

Его жена была совершенно глуха с тех пор, как ее машина врезалась в поезд. Она так и не выучилась читать по губам, и все вопросы приходилось царапать ей на бумажке. Это был ее второй муж, и они были женаты уже двадцать лет. Ей нравилась утонченность английской жизни. Ей нравилось пользоваться серебряной подставкой для гренок. Ей нравились хороший лен, натуральный ситец и полированная медь. Патагония ей не нравилась. Она терпеть не могла зиму и скучала по цветам.

— Мне так трудно здесь выращивать цветы! Люпины растут хорошо, но гвоздики ни разу не пережили холодов, и я в основном сажаю однолетние — годеции, кларкии, дельфиниумы, ноготки, — но никогда нельзя сказать заранее, что получится. В этот год просто беда с душистым горошком, а мне так нравится ставить его в вазы. С цветами в доме лучше, я так думаю.

— Хм! — пробормотал он. — Начхать мне на ее чертовы цветы.

— Что ты сказал, дорогой? Он, знаете ли, переработал. Слабое сердце! Ему не следовало бы ездить по всему выгону целыми днями. Это мне надо было бы ездить сгонять овец. Он ненавидит лошадей. А когда я жила в Буэнос-Айресе, я так любила кататься!

— Ба! Уж она-то чего понимает! Каталась там по какой-нибудь шикарной эстансии и теперь думает, что может сгонять овец.

— Что ты говоришь, дорогой?

— Лошадей, что правда, то правда, я никогда не любил. Но теперь никто вместо меня на них не поедет. Когда-то это была хорошая страна. Ты платил — они работали. А теперь у меня этот мальчишка, только и смотрит, как бы удрать, да старый пеон, а ему восемьдесят три, я его к лошади должен ремнями привязывать.

Шотландец прожил в долине сорок лет. Все считали его очень прижимистым. Однажды — в год, когда цены на

шерсть были особенно высоки, — они с женой поехали в Шотландию. Они останавливались в отелях первого класса и провели неделю на острове Льюис. Там он впервые увидел то, о чем лишь слышал в детстве от матери, — чаек, рыбацьи лодки, груженные сельдью, вереск, торф — и почувствовал зов крови.

Теперь он хотел оставить Патагонию и уехать на Льюис. Его жене тоже хотелось уехать, но необязательно на остров: со здоровьем у нее было лучше, чем у него. А он не знал, как теперь отсюда выбраться. Цены на шерсть падают, перонисты зарятся на его землю.

На следующее утро мы стояли во дворе, смотрели на длинную линию телеграфных столбов и ждали, когда подъедут стригальщики овец на грузовике. Вместо лужайки перед домом расстилался утоптаный участок голой земли с проволочной оградкой посередине.

— Кто у вас там? — спросил я.

— А, засранец у меня умер.

На дне оградки скорчился высохший скелет чертополоха.

Спускаясь вниз к Комодоро-Ривадавии, я пересек черную каменную пустыню и прибыл в Сармьенто. Это была очередная пыльная решетка улиц, застроенных железными домами на полоске пахотной земли между шипящим бирюзовым озером Мустерс и илисто-зеленым озером Колуэ-Уапи.

Я вышел из города в окаменелый лес. Ветряные насосы крутились как безумные. Иссиня-черная цапля лежала парализованная под электрическим кабелем. Вдоль ее клюва бежала струйка крови. Языка не было. Сломы стволов вымерших араукарий были такими гладкими, точно прошли через лесопилку.

Множество буров жили в Сармьенто и встречались за ланчем в отеле «Орроз». Их фамилии были Вентар, Виссер, Ворстер, Крюгер, Норвал, Элофф, Бота и де Брюн — потомки несгибаемых африкандеров, эмигрировавших в Патагонию в 1903 году из одного лишь отвращения к «Юнион Джеку»¹. Они жили в страхе Божьем, праздновали день Дингаана² и клялись на голландской реформистской библии. Они не женились на чужих, а их дочерям полагалось уходить на кухню, едва в дом ступал латиноамериканец. Когда доктор Малан³ пришел к власти, многие вернулись в Южную Африку.

Но наиболее выдающимся жителем этого города был все-таки литовец Казимир Слапелич. Пятьдесят лет назад он обнаружил в ущелье динозавра. Теперь, беззубый,

¹ «Юнион Джек» — флаг Соединенного Королевства.

² **День Дингаана** — 16 декабря 1838 года на отряд бурских первопроходцев напали войска зулусского вождя Дингаана. Перед битвой буры поклялись, что если им будет суждено выжить, они будут всегда справлять этот день. 16 декабря, День клятвы, остается важнейшим праздником (в нынешней ЮАР — День примирения).

³ **Даниель Франсуа Малан** (1874–1959) — премьер-министр Южно-Африканского Союза (ныне ЮАР) в 1948–1954 годах, основоположник системы апартеида.

без единого волоса, далеко за восемьдесят, он был одним из старейших пилотов мира, которые все еще поднимаются в воздух. Каждое утро он надевал белый летный парусиновый костюм, тащился на «москвиче» в аэроклуб и там бросал свой допотопный моноплан навстречу ветру. Риск лишь подогревал в нем аппетит к жизни.

Ветер отполировал и выкрасил бледно-лиловым его нос. Я застал Слапелича за ланчем, заливающим борщ внутрь бильярдного шара своей головы. Он убрал комнату весьма живо, в балтийском стиле — с занавесками в цветочек, геранями, дипломами за высшую пилотажную эквилибристику и с подписанной фотографией Нила Армстронга. Все его книги были на литовском, этом языке-аристократе среди индоевропейских, и писали о будущей независимости его страны.

Его жена умерла, и он взял к себе молодую индейскую семью — по доброте своей и для компании. Девушка сидела у белой стены, кормила малыша и пожирала посетителей блестящими, как слюда, глазами.

Казимир Слапелич был просто чудо. Когда-то он пытался стать человеком-птицей. Теперь ему хотелось слетать на Луну.

— Но я отвезу вас на самолете, — сказал он.

— Возможно, — сказал я.

— Мы полетим через пустыню Пейнтед.

Ветер переходил в ураган. Когда мы ехали на «москвиче», я заметил, что искривленные ноги Слапелича, напоминающие пару правильных дуг, не вполне управляются с педалями.

— Лучше нам не лететь самолетом, — заметил я.

— Тогда я отвезу вас к своей сестре. У нее есть коллекция наконечников индейских стрел.

Мы подъехали к бетонному бунгалу и прошли через сад к задней двери. Там, среди пестрых ноготков, посаженных сестрой, поднимался внушительный белый фаллос.

— Берцовая кость динозавра, — прокомментировал Казимир Слапелич.

Кожа на лице его сестры загрузела от старости. Она входила в очень узкий круг дам Сармьенто, которые были археологами. Собственно, они были не археологами, а собирательницами древностей. Они прочесывали пещеры, охотничьи стоянки и озерные берега в поисках реликтов, оставшихся от древних охотников. У каждой была своя сеть пеонов, приносящих предметы со стоянок. «Профессионалы» поносили их за мародерство.

Сегодня утром балтийская изгнанница «принимала у себя» одну валлийку. Гостья наблюдала за тем, как ее недостойная соперница разворачивает белую ткань и вынимает свои сокровища, и ее полные зависти глаза очень плохо сочетались со снисходительными замечаниями.

Сестра Слапелича умела разжечь зависть. Она продемонстрировала обтянутые черным бархатом карточки, на которых наконечники стрел, яркие, точно драгоценные камни, были прикреплены в таком расположении, что напоминали тропических рыб. Ее пальцы поигрывали на их граненых поверхностях. Еще у нее были плоские ножи из розового и зеленого кремня, камни из болеадорас, голубого цвета идол и несколько стрел с орлиным оперением.

— Но моя коллекция лучше, — сказала дама из Уэльса.

— Больше, но не такая красивая, — сказала дама из Литвы.

— Я продам ее первой леди, и она отправит мою коллекцию в Национальный музей.

— Если она ее купит, — ответила та, что постарше.

Казимир Слапелич заскучал. Мы вышли в сад.

— Вещи мертвых, — сказал он. — Не нравится мне это.

— Мне тоже.

— Кого навестим теперь?

— Буров.

— С бурами вообще сложно, но давайте попробуем.

Мы поехали на восточную сторону города, где стояли бунгало буров. Слапелич постучал в одну из дверей — вся семья вышла во двор, с неподвижными лицами уставилась на «англичанина», и никто не вымолвил ни слова. Слапелич по-

стучал к другим — дверь с лязгом заперли. Он нашел валлийца, женатого на женщине из буров, и тот готов был поговорить, но знал он немного. И тогда Слапелич нашел толстую женщину, которая перегнулась через красную садовую калитку и свирепо смотрела на нас. Она тоже готова была что-нибудь рассказать, но за деньги и в присутствии адвоката.

— Не очень они приветливы, — сказал я.

— Они же буры! — ответил Казимир Слапелич.

В Комодоро-Ривадавии я зашел навестить отца Мануэля Паласиоса, всезнающего гения латинского Юга. Он жил в Салезианском колледже, бетонной громаде, зажатой между скалой и морем. Ветер подымал вверх клубы пыли, и всполохи с нефтяных вышек озаряли их огненно-оранжевым светом.

Священник, укрывшись в дверях часовни, болтал с двумя мальчиками. Его седые локоны вились прелестной гирляндой. Ветер рвал полы сутаны, открывая фарфорово-белые ноги.

— Где я могу найти отца Паласиоса?

Лоб без единой морщины нахмурился. Священник вдруг показался озабоченным.

— Нигде.

— Но он живет здесь?

— Он не принимает посетителей. Он работает. День и ночь работает. Кроме того, он поправляется после операции. Рак, — шепнул он. — У него так мало времени.

Он перечислил достижения патагонского эрудита. Отец Паласиос был доктором теологии, теоретической антропологии и археологии. Он был морским биологом, зоологом, инженером, физиком, геологом, агрономом, зоологом, генетиком и таксидермистом. Он говорил на четырех европейских языках и шести индейских. Сейчас он пишет общую историю Салезианского ордена и трактат, посвященный библейским пророчествам о Новом Свете.

— Но что делать с этим сочинением? — нервно хихикнул священник. — Какая ответственность возлагается на наши плечи. Как сохранить это сокровище? Как опубликовать?

Он прищелкнул языком:

— Зачем вы хотите его видеть?

— Он, насколько я знаю, эксперт по индейцам.

— Эксперт? Да он и есть индеец! Ну хорошо, я отведу вас к нему, но не обещаю, что он вас примет.

Не потревоженный даже пылевой бурей, эрудит сидел в роще тамарисков, погрузившись в американский учебник по прикладной инженерии. Он был в голубом берете и мешковатом сером костюме. Складки кожи, как на шее черепахи, свисали над целлулоидным воротничком. Он предложил мне маленькую скамеечку и пригласил присесть у его ног. Своему коллеге он махнул на стул, видно, когда-то едва не погибший в огне, а потом посмотрел на часы.

— Я могу уделить вам полчаса, чтобы вкратце изложить праисторию Патагонии.

Отец Паласиос завалил меня информацией: статистика, данные по радиоуглероду, миграции людей и животных, регрессии береговых линий, смещение пластов Анд, открытие новых памятников материальной культуры. Обладая фотографической памятью, он мог описать в деталях индейскую наскальную живопись на Юге: «...во Втором окаменелом лесу существует уникальное изображение милодона... В Рио-Пинтурас вы обнаружите сцены клеймения палеолам, мужчины там одеты в фаллические шапочки... вторая фреска изображает использование ловушки, такой же как и в описаниях Пигафетты... на Лаго-Посадас изображена смертельная битва между макраухенией и смилодоном».

Я все тщательно записал. Священник в развевающейся сутане стоял у обугленных останков стула.

— ¡Qué inteligencia! — говорил он — ¡Oh Padre! ¡Qué sabiduría!

Отец Паласиос улыбнулся и продолжил. Впрочем, я заметил, что он разговаривает уже не со мной. Вместо этого, впериwв взор в небеса, он обращал свой монолог к подступающим облакам.

— О Патагония! — восклицал он. — Ты не открываешь своих секретов глупцам. Ученые знатоки приезжают из

¹ ¡Qué inteligencia! ¡Oh Padre! ¡Qué sabiduría! — Каков ум! Отец мой, как это мудро! (исп.)

Буэнос-Айреса, даже из Северной Америки. И что они понимают? Можно лишь удивляться их невежеству! Останки единорога до сих пор никто не откопал!

— Единорога?

— Именно единорога. Патагонский единорог был современником вымершей мегафауны позднего плейстоцена. Последние единороги были уничтожены человеком в пятом-шестом тысячелетии до Рождества Христова. На Лаго-Посадас вы увидите два изображения единорога. Один держит свой рог, прямо как в псалме 92: «Мой рог Ты возносишь, как рог единорога». Второй готов проколоть охотника и топчет пампасы, как описано в Книге Иова (в кн. Иова 39:21 говорится о лошади, которая «топчет долину», тогда как в стихах 9–10 говорится, что единороги не подходят для того, чтобы на них пахать).

Лекция расплывалась, становясь путешествием в грезы. Жители Маркизских островов причалили на своих каноэ во фьордах Южного Чили, вскарабкались в Анды, поселились у озера Мустерс и смешались с местными племенами. Отец Паласиос рассказал об одной своей находке в Тьерра-дель-Фуэго — скульптуре женщины без головы, в человеческий рост, окрашенной в цвет красной охры.

— ¡Oh Dios! ¡Qué conocimientos!

— И у вас есть фотографии? — спросил я.

— Конечно, у меня есть фотографии, — он снова улыбнулся. — Но они не для публикации. А теперь позвольте задать вам вопрос. На каком континенте возник человеческий род?

— В Африке.

— Неверно! Абсолютно неверно! Здесь, в Патагонии, разумные существа наблюдали формирование Анд в третичный период! И предок человека жил в Тьерра-дель-Фуэго задолго до африканских австралопитеков. Более того, — добавил он небрежно, — последнего из них видели в 1928 году.

¹ ¡Oh Dios! ¡Qué conocimientos! — Бог мой, какие познания! (исп.)

— ¡Genio!

Отец Паласиос набросал в общих чертах историю Йошила (впоследствии опубликованную в одном ученом журнале).

Йошил (так его называют индейцы) был — возможно, и есть — бесхвостый протогоминид, с лишайникообразной растительностью желтовато-зеленого цвета. Рост его около восьмидесяти сантиметров, он передвигался на двух ногах и обитал на территории племени хауш. Обычно он вооружался камнем или короткой дубинкой. Дни он проводил в зарослях деревьев ньири (*Notofagus antarctica*), а ночью согревался у костра какого-нибудь одинокого охотника. Йошил был, скорее всего, вегетарианцем и питался дикими фруктами, грибами и белыми личинками — основной пищей магелланова дятла.

Первые современные сведения о Йошילה принадлежат охотнику-хаушу Йооимолке, который встретил одного из них во время охоты на больших бакланов в бухте Калета-Иригойен в 1886 году, а последнее достоверное свидетельство, 1928 года, принадлежит охотнику Паимену. Однако самую печальную встречу с Йошилом пережил во время Великой войны индеец Пака, информант отца Паласиоса.

Пака ночевал один на стоянке в лесу, когда Йошил появился перед костром. Паке была известна плохая репутация Йошила, он схватился за лук, но животное тут же спряталось. Пака подумал, что если заснуть, Йошил убьет его, и лежал без сна с оружием наготове. Йошил попытался приблизиться. Пака выстрелил и услышал вопль боли. Утром он нашел тело неподалеку. К ужасу индейца, в чертах животного он увидел лицо своего недавно умершего брата. И он вырыл могилу, не зная, хоронит ли Йошила или перезахоранивает брата.

— Я решил, — подытожил отец Паласиос, — назвать это существо фуэгопитек. Название, конечно, временное. Йошил может оказаться тем же видом, что и патагонский протогоминид, *Nomunculus harringtoni* из Чубута. Только данные скелета могут ответить на этот вопрос.

— ¡Dios! ¡Qué ciencia!¹

— А теперь, — сказал он, — кажется, мы закончили наш обзор, — и снова погрузился в книгу.

Я ушел, пораженный вдохновенностью этого самоучки.

— Гений, — шептал мой компаньон, пока мы быстро шли среди тамарисков к зданиям колледжа.

— Скажите, я ошибаюсь или колледж и вправду закрыт?

— Закрыт, — ответил он. — Закрыт. Всякие проблемы.

Стены были покрыты изображениями сжатых алых кулаков и лозунгами какого-то пролетарского фронта.

— Мальчишки, — пожал он плечами, — мальчишки.

В часовне забряцал колокол.

— А теперь мне пора на мессу, — сказал он. — Скажите, брат мой, какой вы веры?

— Протестант.

— Другой путь, — вздохнул он. — Божественная сущность — та же. *Adiós, Hermano*².

¹ ¡Dios! ¡Qué ciencia! — Боже, какая ученость! (исп.)

² *Adiós, Hermano* — Прощайте, брат мой (исп.).

Теперь у меня были две причины опять отправиться в Кордильеры: посмотреть на старую овечью ферму Чарли Милворда в Валле-Уэмелес и найти единорога отца Паласиоса. Я сел на автобус, шедший до Перито-Морено, и высадился там во время пылевой бури. Закусочная принадлежала арабу, который готовил чечевицу и редис, а на стойке держал веточку мяты — чтобы напоминала ему о доме, где он никогда не был. Я спросил у него о транспорте на север. Он пожал плечами.

— Какие-нибудь чилийские грузовики, но очень-очень немного.

До Валле-Уэмелес было больше ста миль, но я решил рискнуть. На заброшенном полицейском посту на краю города кто-то вывел голубой краской «Перон — Горилла». Там же лежала груда бутылок из-под джина — памятник погибшему водителю; его друзья каждый раз бросали по бутылке, проезжая мимо на своих грузовиках. Я шагал два часа, пять часов, десять часов — и ничего, ни одного грузовика. Моя записная книжка отчасти передает мое тогдашнее настроение:

Шел весь день и весь следующий. Дорога прямая, серая, пыльная, пустая. Ветер неослабный, мешающий движению. Иногда слышишь грузовик, ты совершенно уверен, что это грузовик, но это — ветер. Или шум переключаемых передач — но это тоже ветер. Иногда звук ветра был похож на порожний грузовик, врезающийся в мост. Даже если бы грузовик ехал прямо у тебя за спиной, ты б его не услышал. Даже если идти в ту же сторону, куда дует ветер, он все равно заглушит звук мотора. Единственное, что можно услышать, — гуанако. Как будто ребенок пытается плакать и чихать одновременно. Видишь его в сотне ярдов от себя: одинокий самец, крупнее и грациознее ламы, в оранжевой шубе и с белым торчащим

хвостом. Говорят, что гуанако — робкое животное, но этот просто приклеивается к тебе. И когда уже не можешь больше идти и растилаешь спальник, он тоже здесь — хнычет, булькает, держится на том же расстоянии. Утром он подошел совсем близко, но ты так потряс его, вылезая из собственной кожи, что он не смог пережить этот шок. Дружбе — конец, и ты провожаешь его взглядом, пока он удаляется прочь через кусты терновника, подобно галеону, с попутным ветром уходящему в море.

Следующий день был жарче и ветреней, чем предыдущий. Горячие шквалы отбрасывают назад, тянут за ноги, давят на плечи. Что начало, что конец дороги — в сером мираже. Видишь сзади столб пыли и, хотя уже ясно, что на грузовик надеяться нечего, все же думаешь, что это грузовик. Или появляются черные пятна, приближаются, и тогда останавливаешься, садишься и ждешь, но пятна уходят в сторону, и становится ясно, что это овцы.

Все-таки на второй день после полудня меня нагнал чилийский грузовик. Водитель был веселый хулиганистый малый, ноги у него пахли сыром. Ему нравился Пиночет, и все, что происходит у него в стране, доставляло ему удовольствие.

Он довез меня до Лаго-Бланко, озера с водой тусклого сливочно-белого цвета, а за ним простирались километры изумрудной травы, окаймленной линией голубых гор. Это и была Валле-Уэмелес.

В последний раз Чарли Милворд был здесь в 1919 году. Барменша еще помнила его усы. «Los enormes bigotes»¹, — сказала она и изобразила, как он хромал со своей палкой. Ее знакомый полицейский потягивал в баре свой предобеденный джин, и она велела ему отвезти меня в эстансию. Он смиренно повиновался, но дабы показать, что он не робкого десятка, зашел домой за револьвером.

Эстансия Валле-Уэмелес была выкрашена в белый и красный цвет, и все в ней демонстрировало эффективность

¹ Los enormes bigotes — огромные усы (исп.).

централизованного управления. Она принадлежала семье Менендес-Безти, овечьим баронам Юга, которые на паях с одним французским скупщиком шерсти выкупили ферму у Чарли после Первой мировой войны. Управляющим у них был немец, и он сразу же отнесся ко мне с недоверием. Думаю, он заподозрил, что я хочу предъявить свои права на ферму. Тем не менее он позволил мне переночевать у пеонов.

Они были в стригальне. Стригальня делилась на двадцать отсеков, и столько же было стригальщиков — жилистых чилийцев, раздетых по пояс, в штанах, почерневших и залоснившихся от сальной шерсти. Во всю длину прохода тянулся ведущий вал, подключенный к паровому мотору. Стоял шум от жужжащих поршней, хлопающих ремней, трещащих ножниц и блеющих овец. Когда парни связывали животным ноги, тех покидала всякая способность к сопротивлению, и они лежали мертвым грузом до тех пор, пока попытка не кончалась. Затем — голые, с алеющими ранами на вымени — овцы безумными прыжками устремлялись наружу, словно перескакивали через воображаемую ограду или пробивали путь на волю.

День закончился мрачным закатом — в красных и пурпурных тонах. Пробил гонг к ужину, и стригальщики опустили ножницы и побежали на кухню. У старого повара была очень ласковая улыбка. Он отрезал мне полноги ягненка.

— Я не смогу столько съесть.

— Еще как сможешь.

Он держал руки поперек живота. Для него все было кончено.

— У меня рак, — сказал он. — Это мое последнее лето.

После наступления темноты гаучо подложили седла под головы и развалились, довольные, как сытые хищники. Мальчишки подбрасывали тополиные поленья в железную печку, на которой кипели два чайника с мате.

Всем священнодействием руководил один человек. Он наполнял раскаленные коричневые сосуды из долбле-

ных тыкв, зеленая жидкость пенилась и переливалась через край. Мужчины поглаживали тыквы и посасывали горький напиток, разговаривая о мате, как другие разговаривают о женщинах.

Мне дали соломенный матрас, и я скорчился на полу и попытался заснуть. Мужчины выплеснули остатки мате, и разговор перешел к ножам. Они вынули клинки из ножен и стали сравнивать их, выбивая дробь по столу. Нас освещал только один фонарь-«молния», и тени клинков металась по белой стене прямо над моей головой. Стригальщик из Чили начал строить комические предположения о том, что его нож может проделать с гринго. Он был очень пьян.

Обратно на юг, через Перито-Морено в Аройо-Фео, где начинаются неплодородные вулканические земли, меня подвез один бур. Он был ветеринаром и не жаловал других буров.

Оборка складчатых белых утесов плясала вдоль горизонта. Вся почва была в стружьях красной анилиновой краски. Ночь я провел с дорожной бригадой, поставившей свои фургоны внутри кольца желтых бульдозеров. Мужчины ели жирные оладьи и угощали меня. Перон глупо улыбался над нашей компанией.

Среди рабочих был один шотландец с рыжеватой шевелюрой и мускулатурой деревенского силача. Он пристально всматривался в меня молочно-голубыми глазами, ощущая родство крови и происхождения со смешанным чувством любопытства и боли. Его звали Робби Росс.

Остальные были латиноамериканцы или индейцы-полукровки.

— Это англичанин, — сказал один из них.

— Шотландец, — поправил я.

— *Sí, soy Escocés*¹, — сказал Робби Росс. Английских слов у него в запасе не было. — *Mi patria es la Inglaterra misma*.

Англия и Шотландия сливались для него в неразличимом тумане. Он делал всю тяжелую работу и служил мишенью для общих насмешек.

— *Es borracho*, — сказал один из них. — Он пьяница.

Явно никто не ожидал, что Робби Росс разъярится. Явно они и раньше называли его пьяницей. Но он ударил кулаком по столу и смотрел, как белеют под кожей суставы.

¹ *Sí, soy Escocés. Mi patria es la Inglaterra misma* — Да, я шотландец. Моя родина тоже Англия (исп.).

Краска полностью сошла с его лица. Его губы дрожали, он рванулся схватить обидчика за горло и вышвырнуть его из фургона за шкуру. Другие скрутили его, и он начал плакать. В ту ночь я слышал, как он плачет, а наутро он даже не захотел взглянуть на «другого англичанина».

Старый красный грузовик «мерседес» приехал в лагерь в восемь, и водитель остановился выпить кофе. Он направлялся с грузом кирпичей на Лаго-Посадас и взял меня с собой. Пако Руису было восемнадцать. Это был приятный паренек с крепкими белыми зубами и мягкими карими глазами. Борода и берет придавали ему сходство с Че Геварой. У него уже намечался пивной живот, и он не любил ходить пешком.

Его отец, банковский служащий, с трудом наскреб денег на грузовик. Пако обожал свою машину и называл ее Росаура. Он чистил ее и полировал ее, а в кабине повесил кружевные оборки. Над приборной доской он укрепил статуэтку Девы Луханской, святого Христофора и пластмассового пингвина, кивавшего на каждой дорожной выбоине. К потолку кабины Пако приклеил обнаженных девушек, но почему-то бесплотными казались девушки, а Росаура — настоящей женщиной.

Они вместе с Росаурой были уже три месяца в дороге. Когда она устанет, уже накопятся деньги на новую Росауру, и они будут колесить да колесить бесконечно. Пако Руис был настроен очень идеалистически. Он не хотел зарабатывать деньги и был доволен, когда его называли *tipo gaucho*. Другие водители помогали ему и учили ругаться. Его любимым выражением было *concha de cotorra*, что значит «попугаева п...а».

Росаура у него оказалась перегружена, и при ее слабых тормозах и залатанных шинах съезжать с холма пришлось на самой малой скорости. Мы уже почти спустились до половины небольшого каньона, когда Пако вдруг дернул переключатель, и мы с грохотом понеслись вниз. Послышался шипящий звук.

— ¡Puta madre! Прокол!

Прорвалась шина на левом внутреннем колесе. Пако остановил Росауру на посыпанной гравием обочине и накренил, чтобы убрать вес с колеса. Он достал запасную шину и вытащил домкрат. Но домкрат был не тот. Тот домкрат он одолжил — это обычное дело — другу с более тяжелым грузом. А этот, маленький, хоть и мог приподнять колесо, но недостаточно высоко.

Тогда Пако вырыл под шиной яму и стал стягивать колеса, но когда он добрался до внутреннего, ножка домкрата начала проваливаться в гравий. Росаура накренилась, и кирпичи сдвинулись.

— ¡Qué masana! Что за чертовщина!

Мы семь часов прождали следующего грузовика, потом, не вытерпев ожидания, снова принялись за дело. Пако забрался под ось и крутил домкрат, подложив на этот раз ему под ножки камни. Он весь покрылся пылью и грязью, покраснел и, судя по всему, начинал выходить из себя. Он вырыл под осью яму побольше, поднял шасси на домкрате и даже поставил обратно оба колеса. Но колеса сели криво, и он не мог закрутить гайки и тогда стал пинать колеса ногами и кричать: «Puta... puta... puta... puta... putana... puta... puta...»

Я пошел за помощью на ближайшую эстансию. Ее владельцем был беззубый Малагенью, переваливший за девяносто. У него не было домкрата, и я направился обратно, срезая путь по серому кустарнику. Мне все время была видна полоса дороги и красная кабина Росауры, но подойдя ближе, я увидел, что машина накренилась еще сильнее, а Пако нигде не видно. Я побежал, решив, что он оказался под ней, как в ловушке, но нашел его в стороне от дороги — он сидел бледный, испуганный, в слезах, не отрывая глаз от синяка, постепенно проступавшего на ноге. Пока меня не было, он предпринял еще одну попытку, и ногу слегка задело, когда ось соскользнула с домкрата. Теперь все и правда оборачивалось полной чертовщиной. Никогда не пинай женщину, которую любишь.

¹ ¡Puta madre (исп.) — грубое ругательство.

40

Помощь в конце концов подоспела в лице тех же дорожных рабочих, и мы прибыли на Лаго-Посадас с опозданием на день. Мы остановились у одного кастильца, любезного и печального монархиста, который покинул Бургос, когда король покинул Мадрид: республику он был согласен переносить где угодно, но только не у себя.

— Единорог, — сказал он. — Знаменитый единорог. Я знаю это место. Мы называем его Cerro de los Indios¹.

И он жестом указал через заливные луга, поросшие тамариском, на купол красноватого камня, водруженный над входом в долину. Синева неба была тусклой, металлической, а две кружащие точки, за которыми я некоторое время наблюдал, оказались кондорами.

— Теперь тут много кондоров, — сказал он, — и пумы есть.

Cerro de los Indios оказалось глыбой базальта в красных и зеленых крапинах, гладкой, как покрытая патиной бронза, с трещинами между тонкими слоями породы. Индейцы безошибочно узнают священное, и потому они выбрали это место. Стоя у подножия скалы, я посмотрел вниз на бирюзовую полосу озер Посадас и Пуэйрредон, протянувшуюся до Чили в галерее пурпурных скал. Каждый выступ скалы охотники расписали изображениями диких животных красной охрой. Они нарисовали и себя — маленьких булавочных человечков, энергично пляшущих вокруг добычи. Считалось, что этой живописи около десяти тысяч лет.

Один на своем скальном выступе, единорог отца Паласиоса возносил рог, как сказано в Псалтыре. У него была толстая шея и тонкое, длинное тело.

¹ Cerro de los Indios — гора индейцев (исп.).

«Он не может быть древним, — подумал я. — Наверное, это бык в профиль».

Но если это и впрямь было древнее, очень древнее животное, оно должно было быть только единорогом.

Под ним было место для обетных приношений — жестянка из-под молока «Нестле», гипсовая фигурка девушки, сидящей на постели, ноготь, который окунули в серую краску, и несколько огарков.

Жена кастильца завернула мне холодные отбивные, и я зашагал на север по земле, пересеченной ущельями и столовыми горами, на которых скальные породы проступали пятнами самых невероятных красок. В одном месте камни были то сиреневыми, розовыми, то зелеными, будто лайм. Ярко-желтое ущелье ощетинилось костями вымерших млекопитающих. Оно спускалось на дно высохшего озера с багряными камнями, где торчали, в корке слоистой оранжевой грязи, белые черепа коров.

Из-за неестественных красок у меня разболелась голова, но я воспрянул духом, едва увидел зеленое дерево — пирамидальный тополь, этот пунктуационный знак человеческого присутствия.

Муж и жена, старые, все в морщинах, сидели на солнышке возле саманной хижины. Женщина превратила стены своей комнаты в коллаж. Окружающий ландшафт распалил ее воображение. Главным экспонатом была раскрашенная гипсовая голова японской гейши, украшенная нимбом Мадонны и волосатыми ляжками аргентинских футболистов. Выше разместился керамический голубь, символ Святого Духа, превращенный в райскую птицу, весь в голубых капроновых лентах и в крашенных страусиных перьях. Фотографию патагонской лисицы она повесила рядом с карандашным наброском генерала Росаса.

Женщина протянула мне сосуд для мате из долбленной тыквы. Она наполнила мою флягу водой, сладковатой от овечьего помета, и взмахом руки указала на тропу, ведущую через горы.

В лучах кирпично-красного заката я добрался до домика немца. Он жил вместе с костлявым индейским юно-

шей. Эти двое уже садились ужинать за некое подобие стола на металлические стулья, какие бывают в кафе-мороженых. У них были совершенно одинаковые ножи, которыми они одинаково кромсали обугленную ножку агненка. Ни мне, ни друг другу они не сказали ни слова. Молча немец подал мне жестяную тарелку, молча отвел после ужина в сарай и указал на груды овечьих шкур.

Утром небо было затянуто облаками, и вереницы дождевых туч неслись на нас из Чили. Немец вытянул руку и указал на трещину в линии черных утесов. Его запястье нырнуло вниз, обозначив долину на том конце. Я помахал ему, и он в ответ поднял в небо свою огромную загорелую лапу и растопырил пальцы.

Я шел по лошадиным следам в желтоватой щетине травы. В одном месте земля была усыпана белыми обломками — панцирь мертвого армадилла. Следы зигзагами прошли вверх по горе и спустились в коричневый водоем, заваленный мертвыми деревьями. На дальнем берегу стоял фермерский дом, окруженный тополями.

Навстречу мне выехал владелец со своими псонами. Это был высокий молодой человек в полосатом пончо. У него была черная, лоснящаяся лошадь и сбруя с серебром, которая весело звенела на скаку.

— Женщины на кухне, — крикнул он, — скажите, чтобы сделали вам кофе.

Его жена и мать сидели на белой кафельной кухне. Они дали мне кофе, и шоколадный кекс, и овечий сыр, и яблочное желе с пряностями. Круглый год они сидели на кухне, не считая тех десяти дней, когда пополняли запасы в Комодоро. Я поблагодарил их и прошел еще восемь миль. В полдень я уже смотрел с высоты на маково-красные крыши эстансии Пасо-Робальос.

Напротив клонилась к западу meseta¹ Лаго-Буэнос-Айрес. Ее стены выросли из нефритовой реки — неприступный бастион в две тысячи футов, вулканические поро-

¹ Meseta — нагорье (исп.).

ды пласт за пластом, точно рыцарский вымпел в зеленых и розовых лентах. Другой склон был резко обрублен, и там стояли четыре горы, четыре вершины выстроились одна над другой: багряный горб, оранжевая колонна, группа розовых шпилей и пепельно-серый конус мертвого вулкана с полосами снега.

Река сбегала в озеро Гио со светлой, молочно-бирюзовой водой. Берега были ослепительно белыми, а скалы над ними тоже белыми или в белых и терракотовых полосах. Вдоль северного берега тянулись сапфиново-голубые лагуны, отделенные зарослями травы от матовых озерных вод. Тысячи черношеих лебедей покачивались на поверхности озера. Отмели были розовыми от фламинго.

Пасо-Робальос действительно выглядел как Золотой город. Возможно, это он и был.

Около 1650 года двое испанских моряков, оба дезертиры и убийцы, выбрались из лесов напротив острова Чилоэ, пройдя вдоль восточной стороны Анд от самого Магелланова пролива. Быть может, они пытались отвлечь внимание губернатора от своих преступлений, когда сообщили о существовании города дворцов с серебряными крышами, жители которого имели белую кожу, говорили по-испански и происходили от тех, кто выжил в колонии Педро Сармьенто, основанной когда-то на берегу пролива.

История этих людей оживила интерес к Трапаланде, зачарованному Городу цезарей, очередному Эльдорадо, притаившемуся где-то в Южных Андах и названному так в честь Франческо Чезаре, лоцмана Себастьяна Кабота. В 1528 году Чезаре прошел вверх от Ла-Платы, пересек Анды и увидел цивилизацию, где золото было в каждодневном обиходе. Из этой его докладной записки и выросла легенда, разжигавшая в людях надежды и алчность вплоть до XIX века.

На розыски города было послано несколько экспедиций. Множество одиноких искателей сгинуло на этом пути. Описание XVIII века помещало этот город на 45° южной широты (Пасо-Робальос — на 47°) и называло его горной крепостью, расположенной у подножия вулкана над прекрасным озером. Там протекала Рио-Диаманте, река, изобилующая золотом и драгоценными камнями. Город простирался на два дня пути, вход был только один, защищенный подъемным мостом. Дома были из тесаного камня, двери усыпаны самоцветами, лемехи плугов делали из серебра, а мебель, даже в самых скромных жилищах, — из серебра и золота. Болезней там не было; старики умирали, как будто погружались в сон. Мужчины ходили в треуголь-

ных шапках, голубых плащах и желтых накидках (цвета Высшего Существа в индейской мифологии). Они выращивали перец, а редис у них рос с такими большими листьями, что к ним можно было привязывать лошадей.

Лишь немногие путешественники видели город своими глазами. Не существует и единого мнения по поводу его истинного расположения: среди прочих называют остров Патмос, леса Гвианы, пустыню Гоби и северный склон горы Меру. Имена города столь же разнообразны: Ут-таракуру, Авалон, Новый Иерусалим, Острова блаженных. Те, кто его увидел, перенесли на пути к нему тяжелейшие испытания. И вот в XVII веке двое испанских разбойников доказали: не надо быть Иезекилем, чтобы принять голую скалу за райские кущи.

Арендатор эстанции Пасо-Робальос был родом с Канарских островов, с Тенерифе. Он сидел на чистенькой кухне, где черные ходики отстукивали часы, а его жена с равнодушным видом ложка за ложкой отправляла в рот ревеневый джем. Весь дом состоял из коридора и заброшенных комнат. Небольшое канапе в гостиной роняло на пол хлопья позолоты. Водопровод, оптимистически построенный полвека назад, обрушился, и от него пахло аммиаком.

Тоскуя по далекому дому и по ушедшим силам, старик повторил названия цветов, деревьев, промыслов и танцев своей родины — прекрасной солнечной горы посреди моря.

Град побил кусты смородины в саду.

Зять стариков служил жандармом, его занятием было охранять границу и задерживать овцекрадов. Тело у него было великолепное, как у атлета, но гармошка нахмуренного лба все ныла о подавленном честолюбии и существовании в неподвижности.

В его голове теснились истории путешествий и завоеваний. Он говорил о викингах в бразильских джунглях. Один профессор, сказал он, откопал там рунические надписи. Марсиане высадились в Перу и обучили инков искусствам цивилизации. А как иначе объяснить невероятно высокий уровень их развития?

Однажды он возвратит жену в дом ее отца, сядет в полицейский *camioneta*¹ и поедет к северу, через Парану, Бразилию и Панаму, Никарагуа и Мексику, и все *chicas*² Северной Америки упадут ему в объятия.

¹ *Camioneta* — пикап (исп.).

² *Chicas* — девочки (исп.).

Он горько улыбнулся этому призраку неосуществимой мечты.

— Почему ты ходишь пешком? — спросил старик. — Ты не можешь ездить на лошади? Люди в этих краях ненавидят пешеходов. Думают, что они сумасшедшие.

— Я могу ездить на лошади, — сказал я, — но я предпочитаю пешком. Собственные ноги надежней.

— Когда-то я знал одного индейца, который говорил то же самое.

Его звали Гарибальди. Он тоже ненавидел лошадей и дома. Он ходил в арауканском пончо, всегда без сумки. Он пешком отправлялся в Боливию, а потом его опять приносило к Магелланову проливу. Он мог пройти сорок миль в день, а работал, только если нужны были новые сапоги.

— Я не видел его уже лет шесть, — сказал старик. — Думаю, кондоры все-таки добрались до него.

На следующее утро после завтрака он указал мне на высокий горный уступ напротив.

— Вот откуда взялись останки.

Здесь та валлийка из Сармьенто нашла кости милодона и нижнюю челюсть макраухении. Я взобрался наверх, спрятался за скалой от ливня со снегом и съел банку несвежих сардин. Передо мной раскинулось древнее морское дно, усыпанное окаменелыми ракушками, мокрое, блестящее, насчитывающее миллионы лет.

Я сидел и думал о рыбе. Я думал о portugaises¹, и об омарах с острова Мэн, и о loup de mer², и о голубой рыбе. Я думал даже о треске, потому что мой желудок бунтовал против жирной ягнятины и старых сардин.

Спотыкаясь и сгибаясь под ударами ветра, я набрел на несколько обсидиановых ножей, лежавших рядом с пластинами брони глиптодонта, которого Амегино назвал пропалеохоплофорусом. Я поздравил себя с такой находкой: никогда до сих пор рукотворные изделия не обнаружива-

¹ **Portugaises** — португальские устрицы (фр.).

² **Loup de mer** — зубатка (фр.).

лись рядом с глиптодонтом. Но позже, в Нью-Йорке, мистер Юниус Бирд заверил меня, что мой глиптодонт окаменел задолго до того, как люди появились в обеих Америках.

От Пасо-Робальос я шел теперь на восток — или, вернее, бежал, подгоняемый порывами ветра, — и кожаный рюкзак, набитый камнями и костями, оттягивал мне плечи. Обочины дороги были замусорены пустыми бутылками изпод шампанского, набросанными гаучо по пути домой. На этикетках было написано: Duc de Saint-Simon, Castel Chandon и Comte de Valmont.

Я вернулся к побережью и прибыл в Пуэрто-Десеадо в первых числах февраля.

44

Город Пуэрто-Десеадо знаменит своим Салезианским колледжем, соединившим в себе всевозможные архитектурные стили — от монастыря Санкт-Галлен до многоэтажной парковки; Gruta de Lourdes¹ и вокзал в формах и пропорциях шотландского деревенского дома.

Я остановился на Эстасион-де-Биология-Марина, с группой ученых, которые с энтузиазмом откапывали пескожилы и ссорились из-за латинских наименований водорослей. Еще там жил один орнитолог, суровый молодой человек, занимавшийся миграцией чернохвостого пингвина. Мы проговорили с ним допоздна, споря, занесены ли и наши путешествия на карту центральной нервной системы. Это казалось единственным возможным объяснением нашей болезненной неспособности к покою.

На следующее утро мы подошли на веслах к колонии пингвинов на острове посреди реки. Вот что в общих чертах рассказал орнитолог.

Магеллановы, или чернохвостые, пингины зимуют в Южной Атлантике у бразильского побережья. Ровно 10 ноября, день в день, рыбаки Пуэрто-Десеадо видят, как передовой отряд пингвинов проплывает вверх по реке. Птицы останавливаются на островах и ждут остальных. Большинство прибывает 24-го и начинает обновлять свои норы. Они любят яркие камешки и собирают их, чтобы украсить вход.

Пингины моногамны и верны друг другу до смерти. Каждая пара занимает маленький участок земли и прогоняет чужаков. Самка откладывает до трех яиц. Между по-

¹ Gruta de Lourdes (исп.) — грот во французском городе Лурд, где в 1858 году Богоматерь явилась святой Бернадетте.

лами не существует разделения труда: оба ходят на рыбалку и по очереди нянчат малышей. Колония распадается с началом холодов, в первую неделю апреля.

Птенцы уже вылупились и успели перерасти родителей. Мы наблюдали за тем, как они неловко, вперевалку доходят до берега и с шумом плюхаются в воду. В XVII веке на этом же месте стоял натуралист сэр Джон Нарборо, который написал, что пингвины «стояли, как дети в белых фартучках, собравшиеся в кружок».

Альбатросы и пингвины — вот птицы, которых я бы убивать не стал.

45

30 октября 1593 года корабль «Дезайр» водоизмещением 120 тонн, ковлявший домой в Англию, опустил якорь в Порт-Дезайр — в четвертый раз с тех пор, как Томас Кавендиш¹ назвал порт в честь этого своего флагмана семь лет назад.

Капитаном «Дезайр» был Джон Дэвис, родом из Девона, самый умелый мореплаватель тех времен. У него за плечами было уже три арктических путешествия, совершенных в поисках Северо-Западного пути. Впереди были две книги по искусству мореплавания и шесть смертельных ран от меча японского пирата.

Дэвис уже участвовал во втором путешествии Кавендиша, которое «имело целью достичь Южного моря». Флотилия вышла из Плимута 26 августа 1591 года: галеон «Лестер», на котором находился генерал-капитан, и остальные — «Косуля», «Дезайр» и «Черная шляпка». Последний корабль получил это имя после того, как перевозил на борту тело Филиппа Сидни².

Кавендиш раздувался от прежних успехов и терпеть не мог своих помощников и команду. У побережья Бразилии он сделал остановку, чтобы разграбить город Сантус. Шторм раскидал корабли, отбросив их от побережья Патагонии, но, как и было условлено, они встретились в Порт-Дезайр.

Флотилия вошла в Магелланов пролив, когда зима в Южном полушарии уже началась. У одного из матросов,

¹ **Томас Кавендиш** (1555–1592) — один из величайших мореплавателей елизаветинской Англии. За свою первую экспедицию в Тихий океан, из которой вернулся только один корабль, «Дезайр», был произведен в рыцарское достоинство.

² **Сэр Филипп Сидни** (1554–1586) — выдающийся английский поэт, солдат и государственный деятель, скончался от раны, полученной в сражении с испанцами в Нидерландах.

когда он сморкался, отвалился обмороженный нос. Обогнув мыс Фровард, они вошли в район северо-западных штормовых ветров и укрылись в узкой бухте, а буря завывала над мачтами. Кавендиш неохотно согласился вернуться в Бразилию пополнить запасы и вновь прийти сюда весной.

В ночь на 20 мая, выйдя из Порт-Дезайр, генерал-капитан без предупреждения поменял курс. Утром «Дезайр» и «Черная шляпка» оказались в море одни. Дэвис двинулся обратно в порт, думая, что его командир присоединится к нему там, как раньше, но Кавендиш отправился в Бразилию и оттуда на остров Святой Елены. Однажды он лег на пол своей каюты и умер, возможно, от апоплексического удара, проклиная Дэвиса, «этого злодея, который и есть причина моей смерти», за дезертирство.

Дэвису, конечно, не нравился Кавендиш, но Дэвис не был предателем. Переждав самую опасную пору зимы, он вновь отправился на юг искать своего генерал-капитана. Шторм вынес корабли к каким-то неоткрытым островам — теперь их называют Фолклендскими.

В этот раз они прошли пролив и вышли в Тихий океан. Во время шторма у мыса Пилар «Дезайр» потеряла «Шляпку», которая пошла ко дну со всей командой. Дэвис один стоял у руля, молясь о быстрой кончине, как вдруг солнце пробилось сквозь тучи. Он сориентировался по солнцу, определил местонахождение корабля и смог вернуться в более тихие воды пролива.

Он привел обратно в Порт-Дезайр мятежную, зашивевшую, страдавшую от цинги команду: «целые пучки вшей, здоровенные, как горошины, да-да, а некоторые — как бобы». Он отремонтировал корабль, насколько это было возможно. Люди ели яйца, чаек, детенышей морских тюленей, траву от цинги и рыбу, называвшуюся рејеггу. Эта диета вернула им здоровье.

Десятью милями ниже был остров, тогда называвшийся Пингвиновым, где матросы забили двадцать тысяч птиц. У пингвинов не было естественных врагов, и они не

испугались своих убийц. Джон Дэвис приказал засушить и засолить пингвинов и загрузил в трюм 14 тысяч тушек.

11 ноября на них напал военный отряд индейцев-теуэльче — «подбрасывая в воздух пыль, они прыгали и бегали, как дикие животные, в масках, похожих на песьи морды, если это не лица у них были, как песьи морды». В перестрелке погибло девять человек. Среди них были Паркер и Смит, зачинщики мятежа, и все сочли, что их смерть была Божьей карой.

«Дезайр» вышел в море на закате 22 декабря и взял курс на Бразилию, где капитан рассчитывал закупить провизию — муку из маниоки. 30 января он высадился на острове Пласенсиа, неподалеку от Рио-де-Жанейро. Матросы запасались фруктами и овощами в садах, принадлежащих индейцам.

Шестью днями позже плотники с корабля отправились на берег, чтобы подыскать обручи для бочек. День был жаркий, и они купались, не выставив часовых, когда на них набросилась толпа индейцев и португальцев. Капитан выслал за ними шлюпку, и матросы нашли тринадцать человек выложенными в ряд, с обращенными к небу лицами, под крестом, водруженным над ними.

Джон Дэвис увидел лодки, отплывающие из гавани Рио. Он пошел в открытое море, другого выбора у него не было. Воды оставалось восемь бочонков, и все прогнившие.

Когда они подошли к экватору, их настигла месть пингвинов. В тушках завелся «мерзейший червь» около дюйма длиной. Червь поедал все за исключением железа — одежду, постель, сапоги, шляпы, кожаные ремни и живую плоть. Черви проедали борт корабля и угрожали потопить его. Чем больше люди убивали червей, тем больше те размножались.

У тропика Рака команда взбунтовалась. У них опухли лодыжки, опухла грудь, все члены опухли так страшно, что «они не могли ни стоять, ни лежать, ни ходить».

Капитан едва мог говорить от горя. Вновь он молился о быстрой кончине. Он умолял команду о смирении, умолял

возблагодарить Бога и покорно принять наказание. Но они буйствовали, сходили с ума, корабль оглашался стонами и проклятиями умирающих. Только Дэвис и юнга были здоровы из тех семидесяти шести, что покинули Плимут. К концу плавания только пять человек оставались на ногах.

Вот так потерянная, гонимая по волнам, со сломанными мачтами и рваными парусами, прогнившая, лишенная руля посудина не столько пришла, сколько была принесена в гавань Берехейвен в Бантри-Бей 11 июня 1593 года. Смерд ужаснул обитателей тихой рыбацкой деревушки.

Вернувшись в Девон, Джон Дэвис узнал, что его жене увел «любовник-щелкопер». В течение следующих двух лет он сидел за столом и писал книги, которые принесли ему славу: «Гидрографическое описание мира», где доказывалось, что Америка это остров, и «Секреты мореплавателя», учебник по небесной навигации, в котором описывалось и его собственное изобретение — «квадрант Дэвиса» — для измерения высоты небесных тел.

Но неспособность к покою вновь одолела его. Он отправился с графом Эссекским на Азорские острова, затем в Ост-Индию лоцманом у «зиландеров». Он умер на борту английского судна «Тигр» в Малаккском проливе 29 декабря 1605 года. Он слишком доверился каким-то японским пиратам и допустил ошибку, пригласив их на обед.

«Южное путешествие Джона Дэвиса» появилось в издании Хаклюта¹ 1600 года. Прошло два столетия, и другой житель Девона, Сэмюэл Тейлор Колридж, написал 625 строк «Старого морехода», о которых спорят до сих пор, — с чеканными повторами и историей преступления, странничества и искушения.

Вот что общего между Джоном Дэвисом и Мореходом Колриджа: плавание к Черному Югу, убийство птицы — или птиц, наказание, за этим последовавшее, дрейф через тропики, гниение корабля, проклятие умирающих.

¹ **Ричард Хаклют** — английский издатель, создатель труда «Об открытиях и плаваниях, совершенных английским народом» (1600), за который был прозван «английским Гомером».

Строки 236–9 особенно напоминают описание елизаветинского путешествия:

*Две сотни жизней смерть взяла,
Оборвала их нить,
А черви, склизни — все живут.
И я обязан жить.*

Американский ученый Джон Ливингстон Лоус в своей «Дороге в Ксанаду» возводит жертву преступления Морехода к «безутешному черному альбатросу», которого застрелил Хатли, помощник капитана капера Джорджа Шевлока, в XVIII веке. У Вордсворта была книга его путевых заметок, и он показал ее Колриджу, когда они пытались вместе написать поэму.

Колридж сам был «ночным призраком», чужаком на собственной родине, блуждавшим по съемным квартирам, неспособным где бы то ни было пустить корни. У него был запущенный случай того, что Бодлер называет «Великой болезнью: страхом перед собственным домом». Отсюда и его отождествление с другими проклятыми скитальцами: Каином, Вечным жидом или прикованными к горизонту мореплавателями XVI века. Ведь он сам и был Мореходом.

Лоус хорошо показывает, как путешествия, опубликованные Хаклютом и Перчесом, питали воображение Колриджа. «Могучее оглушительное грохотание льдов», свидетелем которых был тот же Джон Дэвис в своем более раннем путешествии в Гренландию, отразилось в строках «Лишь треск ломающихся глыб,/Лишь грохот, гул и гром». Но Лоус, очевидно, не учитывал, что хребет этого стихотворения Колриджу могло подарить путешествие Дэвиса к Магелланову проливу.

Я миновал три скучных города — Сан-Хулиан, Санта-Крус и Рио-Гальегос.

Когда спускаешься по побережью к югу, трава становится все зеленее, овечьи фермы все богаче, а британцы все многочисленней. Это сыновья и внуки тех, кто в 1890-х годах расчистил и огородил здесь землю. Многие были келперами¹ с Фолклендов, которые высадились здесь, имея за душой лишь воспоминания о том, как их сживали с насиженных мест в горной Шотландии, а больше податься им было некуда. Они хорошо заработали во время овечьего бума на рубеже веков, потому что в Патагонии не было недостатка в дешевой рабочей силе и низкие цены на патагонскую шерсть ставили ее вне конкуренции.

Сегодня их фермы на грани разорения, но по-прежнему аккуратно покрашены. И сейчас еще там, за рядами деревьев, защищающими от ветра, можно увидеть цветочные бордюры, опрыскиватели для лужаек, ящики для фруктов, оранжереи, огуречные сэндвичи, перевязанные комплекты «Жизни в деревне» и, возможно, архидиакона, пришедшего с визитом.

Патагонское овцеводство началось в 1877 году, когда мистер Генри Рейнард, английский торговец из Пунта-Аренас, перевез на пароме стадо овец с Фолклендских островов и выпустил его на острове Елизаветы в проливе. Стадо быстро размножилось, и другие купцы тут же поняли, что к чему. Ведущими предпринимателями среди них стали безжалостный астуриец Хосе Менендес и его зять, весьма любезный еврей Мориц Браун. Поначалу они были соперниками, но затем объединились и создали империю эс-

¹ Келперы — собиратели водорослей.

тансий, каменноугольных копей, морозильных устройств, универсальных магазинов, торговых кораблей и спасательных судов.

Менендес умер в 1918 году, оставив значительную часть своих миллионов королю Альфонсу XIII Испанскому, и был похоронен в Пунта-Аренас, под миниатюрной версией памятника Виктору Эммануилу¹. Но семьи Брауна и Менендеса продолжали наводнять овцами эти территории через свою компанию, которую называли здесь просто «Ла Анонима». Овец они выписывали из Новой Зеландии, пастухов с собаками с Внешних Гебридских островов, а управляющих — из британской армии, которые придали всему предприятию лоск военного парада. В результате провинция Санта-Крус стала походить на аванпост Британской империи, управляемый испаноязычными чиновниками.

Почти все пеоны были эмигрантами. Они пришли — и до сих пор приходят — с прекрасных зеленых островов Чилоэ, где воздух мягок, условия жизни примитивны, а фермы многолюдны; где на ужин всегда можно поймать рыбу, а делать особенно нечего; где женщины яростны и энергичны, а мужчины ленивы и спускают весь заработок на карты.

Чилоты спят в общих спальнях спартанского вида, зарабатывают себе мозоли на спинах, сражаются с холодами при помощи мяса и мате, пока не умирают от старости. Я слышал, как они ворчат на своих хозяев. «Es hombre despótico»², — говорят они. Но если упомянуть имя Арчи Таффнелла, это тут же заставит их придержать язык и буркнуть: «Ну, мистер Таффнелл — это другое дело».

¹ Памятник Виктору Эммануилу — знаменитый своими размерами и помпезностью памятник в честь объединения Италии в Риме, прозванный «пишущей машинкой».

² *Es hombre despótico* — он настоящий деспот (исп.).

— Итак, вы хотите найти мистера Таффнелла? — спросил бармен. — Это непросто. Сперва там дорога, которая и на дорогу-то не похожа, а дальше колея, но даже и не колея.

Бармен был высокий человек в полосатом костюме и двубортном жилете. На толстой золотой цепочке позвякивали печати и ключи. Его волосы были *engominado*¹, как у танцора танго, — блестящие крылья угольно-черных волос, но у корней уже показывалась седина, и сам он выглядел больным и дряблым. Всю жизнь он был великим ловеласом и только-только опять достался жене.

Он нарисовал карту на бумажной салфетке.

— Вы увидите дом возле озера, окруженный деревьями, — сказал он и пожелал мне удачи.

Я добрался до места в темноте. Лунный свет поблескивал на перламутровых ракушках окаменевших устриц. Несколько уток плавали в озере — черные силуэты на серебристой ряби. Нить золотистого света привела меня в рощу тополей. Послышался лай. Отворилась дверь, и мимо меня крадучись прошла собака с красным куском мяса в зубах. Женщина указала на домик, окруженный ивами.

— Старик живет там, — сказала она.

Человек лет восьмидесяти с очень прямой спиной внимательно посмотрел на меня сквозь очки в стальной оправе и усмехнулся. У него было блестящее розовое лицо и шорты цвета хаки. Я извинился за поздний визит и объяснил, что меня привело к нему.

— Вы когда-нибудь знали капитана Милворда?

— Старика Милла. Конечно, я знал старика Милла. Консул Его Величества, Пунта-Аренас, Чили. Крикливый

¹ *Engominado* — намаженный (исп.).

старый петух. Немного я о нем помню. Молодая жена. Малость толстоват, но выглядел хорошо. Слушайте, идите сюда и давайте я что-нибудь сделаю вам на ужин. Представляю, как трудно разыскать это место самому.

Арчи Таффнелл любил Патагонию и называл ее «Старушка Пат». Он любил одиночество, птиц, простор и здоровый сухой климат. Он управлял овцеводческой фермой, принадлежавшей крупной английской компании, в течение сорока лет. Когда ему пришлось выйти на пенсию, он даже подумать не мог о возвращении в этот курятник, в Англию, и выкупил себе участок, забрав также две с половиной тысячи овец и «своего человека Гомеса».

Арчи отдал дом семейству Гомеса, а сам жил один в сборной будке. Его жилище являло собой пример аскетизма: душ, узкая постель, стол и два раскладных табурета, но ни одного стула.

— Не желаю утонуть в креслах. Только не в моем возрасте. Могу и не подняться.

В его спальне были две спортивные гравюры и красный угол для фотографий. Это были сепиевые снимки уверенных леди и джентльменов, позирующих на фоне зимнего сада или в охотничьем снаряжении.

Он был человеком не умным, но мудрым. Он жил холостяком, думал только о себе, избегал сложностей и никому не мешал. Он придерживался принципов эпохи короля Эдуарда, но знал, до чего изменился мир и как всегда быть на шаг впереди изменений, чтобы избежать необходимости меняться самому. Его правила были просты. Будь гибким. Никогда не жди повышения цен. Никогда не пытайся деньгами завоевать уважение своих рабочих.

— Очень они гордые, — говорит он. — Надо держать дистанцию, а то решат, что ты подлиза. Потому при них я говорю по-испански хуже некуда. Но ты должен делать то, что приходится делать им. Им плевать, сколько денег у тебя в банке, если ты ешь то же, что они.

«Свой человек Гомес» и Арчи были неразлучны. Весь день они бродили по саду, пропалывая шпинат или высажи-

вая помидорную рассаду. Сеньора Гомес приготовила ланч, и в самую жару, когда старик ушел вздремнуть, я сидел на голубой кухне и слушал, как Гомес распространяется о своем хозяине.

— Он просто чудо! Да какой умный! Да какой щедрый! Да какой красивый! Я всем ему обязан.

На почетном месте, там, где в некоторых домах можно увидеть изображение Перона, Иисуса Христа или генерала Сан-Мартина, сияла огромная фотография мистера Таффнелла.

Я стоял на берегу Сан-Хулиана и старался представить себе ужин в каюте Дрейка: серебряные блюда с золотой каймой, пение трубы и виолы, адмирал-плебей и его знатный гость, мятежник Томас Даути¹. Наняв подтекающую лодку, я на веслах доплыл до Гиббет-Пойнта², чтобы поискать на берегу «большой жернов», установленный на могиле Даути, с вырезанным на нем латинским именем умершего, «чтобы его было легче прочесть тем, кто придет после нас». Дрейк отрубил ему голову рядом с виселицей, на которой Магеллан повесил своих бунтарей, Кесаду и Мендосу³, пятьдесят восемь зим тому назад. В Патагонии древесина сохраняется хорошо. Плотники с «Пеликана» распилили виселичный столб и наделали больших пивных кружек на память команде.

За ланчем в моем отеле несколько фермеров-заговорщиков обсуждали, где заблокировать трассу тюками с шерстью в знак протеста против правительства Исабель Перон, которое сбило цены на шерсть намного ниже, чем на мировом рынке. Сам отель был пародией на тюдоровский стиль — с черными балками, приколочеными к рифленым листам железа. Этот стиль подходил к тем реминисценциям XVI века, что посещали меня в Сан-Хулиане.

¹ **Томас Даути** (?–1578) — близкий друг Дрейка, капитан флагмана «Пеликан», был обвинен в подстрекательстве к мятежу и колдовстве во время зимовки экспедиции в Пуэрто-Сан-Хулиан, вероятно, из-за своих связей с политическими противниками Дрейка. Перед казнью Даути они с Дрейком вместе причастились у судебного священника и отужинали в капитанской каюте «Пеликана».

² **Гиббет-Пойнт** (Gibbet Point) — Виселичный мыс.

³ **Гаспар де Кесада** и **Луис де Мендоса** — капитаны двух судов в кругосветной экспедиции Магеллана, взбунтовавшиеся во время зимовки в Патагонии в основанной моряками колонии Пуэрто-Сан-Хулиан.

Берналь Диас¹ пишет, что при виде городов Мексики, украшенных драгоценными камнями, конкистадоры спрашивали себя, не вступают ли они прямо в книгу «Амадис Галльский»² или в царство сновидений. Эти его строки иногда цитируются в подтверждение той мысли, что история стремится к симметрии с мифом. То же можно сказать и о выходе Магеллана к этому побережью в 1520 году.

С корабля они увидели великана, который голым плясал на берегу, «плясал и скакал, пел и при этом посыпал себе голову песком и пылью». Когда белые люди приблизились, великан поднял палец в воздух, спрашивая, не явились ли они с неба. Когда его повели к генерал-капитану, он прикрыл свою наготу накидкой из шкуры гуанако.

Великан оказался индейцем из племени теуэльче — меднокожих охотников, чья сила, рост и оглушительные голоса мешали разглядеть присущую им мягкость нрава (именно они, вероятно, послужили Свифту прототипами ужасных, но дружелюбных великанов Бробдингнега). Пигафетта, хроникер Магеллана, говорит, что они бегали быстрее лошади, украшали концы своих луков кварцем, ели сырое мясо, жили в палатках и кочевали с места на место, «как цыгане».

Дальше, как говорят, Магеллан сказал: «Ха! Патагон!» — что значит «большая ступня», имея в виду размер его мокасин. Это происхождение слова «Патагония» обычно считают несомненным. Но хотя по-испански *pata* и значит «нога», суффикс *-gon* никакого значения не имеет; по-гречески же *λαταγος* означает «ревущий» или «скрежещущий зубами», и поскольку Пигафетта описывает патагонцев «реву-

¹ **Берналь Диас дель Кастильо** (1492/1493–1581) — испанский конкистадор, сопровождавший Кортеса и описавший завоевание империи ацтеков в «Покорении Новой Испании».

² **«Амадис Галльский»** — популярный испанский рыцарский роман XV века.

щами, как быки», то можно было бы предположить, что в команде Магеллана числился греческий матрос, скорее всего, бежавший от турок.

Я сверился со списком команды, но не нашел там упоминания ни о каком греческом матросе. Профессор Гонсалес Диас из Буэнос-Айреса привлек мое внимание к «Прималеону Греческому», рыцарскому роману, такому же нелепому, как и «Амадис Галльский», но и столь же захватывающему. Роман был опубликован в Кастилии в 1512 году, за семь лет до того, как Магеллан отправился в свое плавание. Я посмотрел английский перевод 1596 года и в конце второй части обнаружил свидетельство в пользу того, что эта книга могла быть у Магеллана в каюте.

Рыцарь Прималеон отплывает на далекий остров и встречает там жестоких и несчастных людей, которые едят сырое мясо и носят шкуры диких животных. В глубине острова живет чудище по имени Великий Патагон, «с головою пса» и ногами оленя, но наделенное человеческим разумом и тягой к женскому полу. Вождь островитян убеждает Прималеона помочь им избавиться от этого ужаса. Рыцарь отправляется на битву, поражает Патагона одним ударом меча и связывает его цепью, на которой держит своих ручных львов. Патагон окрашивает траву кровью, издает рев, «столь ужасный, что поверг бы в трепет и самое отважное сердце», но потом приходит в себя и зализывает раны «огромным широким языком».

Затем Прималеон решает отправить чудище домой, в «Полонию», чтобы пополнить королевскую коллекцию редкостей. В путешествии Патагон пресмыкается перед новым хозяином, а едва они сходят на берег, королева Гридония уже встречает их, чтобы на него посмотреть. «Это всего лишь дьявол, — заявляет она, — и руки мои не коснутся его». Однако ее дочь, принцесса Зефира, гладит чудовище, поет ему песни, учит своему языку, в то время как он счастлив «взирать на лицо прекрасной дамы» и «ходит за нею кротко, словно спаниель».

На зимовке в Сан-Хулиане Магеллан тоже решает выкрасить двух великанов для Карла V и его королевы-импе-

ратрицы. Он дает великанам в руки множество безделушек и, пока его люди клепают им железные кандалы вокруг коленей, убеждает их, что это тоже украшения. Оказавшись в ловушке, великаны страшно закричали, «точно быки, и призвали своего великого дьявола Сетевоса на помощь». Одному удалось убежать, а другого Магеллан доставил на борт и окрестил Павлом.

История, может быть, и стремится к симметрии с легендой, но редко достигает ее: великан Павел умер от цинги в Тихом океане, и его тело стало пищей акулам; а тело Магеллана упало ничком на мелководье в Мактане, сраженное мечом филиппинца.

Пройдет еще девяносто лет, и состоится первое представление «Бури» в Уайтхолле 1 ноября 1611 года. Вопрос об источниках этой шекспировской пьесы до сих пор остается предметом ожесточенных споров, но мы можем с уверенностью сказать, что Шекспир читал о гнусном трюке, проделанном в Сан-Хулиане, в «Путешествии» Пигафетты:

*Калибан: Я должен подчиниться. Ведь искусство
Его такую силой обладает,
Что и Сетевоса, бога моего,
Себе послушным делает вассалом.*

В уста Калибана Шекспир вложил всю горечь Нового мира («Я этот остров получил по праву/от матери, а ты меня ограбил»). Он предвидел, что язык белого человека станет языком войны («Да заберет тебя чума за то, что обучил меня своей ты речи»; что индейцы станут пресмыкаться перед первым пройдохой, который пообещает им свободу («Я поцелую твою ногу... вылижу башмак... Бан-бан-Калибан, у тебя новый господин — новый человек»). И Пигафетту он читал куда более внимательно, чем считается обычно:

*Калибан: Ты что, упал с небес?
Стефано: С луны свалился, уверяю вас: в иные годы я был тем человеком на луне.*

Или:

Стефано: Если бы мне удалось вылечить его да приручить. Да вернуться с ним вместе в Неаполь — ни один император не отказался бы от такого подарка.

Вопрос в том, знал ли Шекспир ту книгу, что подтолкнула события в Сан-Хулиане?

Я думаю, знал. Оба чудовища были наполовину людьми. Великий Патагон «был рожден зверем в лесах»; Калибан — «опасный раб, рожденный самим Дьяволом». Оба выучились чужому языку. Оба полюбили белую принцессу (пусть даже Калибан и пытался изнасиловать Миранду). И оба были схожи в одном важном отношении: у Патагона была «песья голова», в то время как Тринкуло говорит о Калибане: «Я умру от смеха над этим песьеголовым чудищем».

«Песьи головы», возможно, происходят от боевых масок, подобных тем, что носила конница Чингисхана или индейцы-теуэльче, напавшие на Джона Дэвиса в Пуэрто-Десеадо. Шекспир мог узнать о них от Хаклюта. Но в любом случае Калибан вполне может претендовать на патагонское происхождение.

В Английском клубе в Рио-Гальегос были облупленные стены кремового цвета, и ни слова не говорилось по-английски. Две дымовых трубы старого морозильного устройства «Корпорации Свифта» поднимались над тюремным двором.

Группа британских фермеров-овцеводов стояла на ветру у ступеней «Лондонского и Южноамериканского банка». Они обсуждали с управляющим резкое падение цен на шерсть. Одна из семей разорилась. Их сын, сидевший в «лендровере», сказал: «А мне не жалко. Значит, не придется ехать в школу». Мужчина в поношенном твидовом костюме ходил взад-вперед перед банком и выкрикивал: «Грязные желтопузые латиносы! Будь они прокляты! Будь они прокляты! Будь они прокляты!»

Это отделение когда-то относилось к «Банку Лондона и Тапараки». Я зашел внутрь и спросил кассира о «североамериканцах».

— Вы говорите о банде Бутса Кэссиди, — догадался он.

Они были здесь в январе 1905 года. Сначала приехали в Пунта-Аренас, где повстречали раздражительного отставного моряка по имени капитан Милворд и в качестве приглашенных членов Английского клуба обучили нескольких юнцов, например, Арчи Таффнелла, паре трюков при игре в пул. Переехав аргентинскую границу, они остановились на английской эстанции и развлекали местных обитателей тем, что наряжались бандитами с Запада, разъезжали по Рио-Гальегос и стреляли в воздух из шестизарядных пистолетов.

— ¡Aquí vienen los gringos locos! — смеялись горожане. — Вот едут сумасшедшие гринго!

Как обычно, они заявили, что подыскивают землю. Они пошли в банк, чтобы обсудить кредит с управляющим,

неким мистером Бишопом. Он пригласил их на ланч, они согласились, и во время ланча связали его и его служащих, упаковали 20000 песо в мешок, прихватили 280 фунтов стерлингов и выехали из города.

— Вот едут сумасшедшие гринго!

Этта помогала с лошадьми. Мне сказали, что она оставалась в городе, болтая с группой поклонников, до тех пор пока ее мужчины не уехали. Затем, вынув револьвер с перламутровой ручкой, который висел у нее на бархатной ленточке сзади на шее, Этта отстрелила фарфоровые изоляторы с телеграфной линии, прервав сообщение с единственным полицейским участком между ними и спасительными Кордильерами.

Проходя вниз по главной улице Рио-Гальегос, я увидел, что в книжном магазине продается новая книга «Los Vengadores de la Patagonia Trágica»¹, написанная историком-леваком Освальдо Байером. Ее темой было анархистское восстание против владельцев эстансий в 1920–1921 годах. Я купил три тома этой книги еще в Буэнос-Айресе и с восторгом прочел их, поскольку эта миниатюрная революция, на мой взгляд, объясняет механику всякой революции вообще.

Я спросил об этом у Арчи Таффнелла, и он нахмурился.

— Грязное дело. Банда большевиков-агитаторов приехала сюда и начала мутить воду. Это одно. Потом подошла армия. Это — другое. Они убили хороших людей. Перестреляли хороших, честных, порядочных людей. Они даже моих друзей застрелили. Все это было грязное дело от начала до конца.

Главой восстания был Антонио Сото.

¹ «Los Vengadores de la Patagonia Trágica» — «Мстители несчастной Патагонии» (исп.).

На юге до сих пор помнят долгоязого рыжеволосого уроженца Галисии, с едва пробившимся пухом на щеках и теми косыми голубыми глазами, которые сочетаются с фанатизмом и кельтской мечтательностью. Тогда он ходил в бриджах и крагах, а фуражку надевал набекрень. Он мог встать прямо посреди грязной улицы и, пока ветер обрывал красные флаги у него за спиной, выкрикивать сентенции Прудона и Бакунина о собственности как о краже и о разрушении как о творческой страсти.

Некоторые испанские эмигранты помнят его в более раннем воплощении — бутафором в бродячей актерской труппе, приехавшей сюда с севера и игравшей Кальдерона и Лопе де Вега в пустом зале «Сиркуло Эспаньол». Иногда он принимал участие в представлении и стоял, как декорация, у беленых стен эстремадурской деревни, осыпавшейся с холщовых задников.

Некоторые помнят, как он прибыл в Рио-Гальегос через двенадцать лет после расстрелов. Он продолжал разыгрывать из себя оратора-анархиста и носил рубашку, растегнутую до пупа. Теперь он мог продемонстрировать еще и тело настоящего рабочего со шрамами от ожогов, полученных на селитровых коях в Чили. Он остановился в отеле «Мирамар» и читал лекции родственникам людей, вот уже двенадцать лет лежавших под белеными деревянными крестами. Это был его последний визит, и играл он уже перед почти пустой аудиторией, где слушателями были лишь несколько одобрительно кивающих испанцев, а потом губернатор вышвырнул его обратно за границу.

Но большая часть тех, кто знал Антонио Сото, вспоминают опавшую грудку мускулов и лицо, на котором выражение свирепости сменялось тихим отчаянием. Тогда у не-

го был маленький ресторанчик в Пунта-Аренас. Если посетители жаловались на обслуживание, он говорил:

— Это анархистский ресторан. Обслуживайтесь сами.

Иногда он сидел с другими испанскими эмигрантами и предавался воспоминаниям об Испании, струившимся вместе с вином из его *rogón*¹, твердя имена тех испанцев, которых следует восхвалять, и тех, кто достоин проклятий, а самые отборные ругательства приберегал для одного юнца, которого однажды встретил на улице в родном порту Эль-Феррол, самодовольного юнца, чья жизнь пойдет совсем не так, как его собственная, и чье имя было Франсиско Багамонде Франко.

Сото родился уже после смерти отца, рядового матроса, утонувшего во время Кубинской войны². В десять лет он поссорился с отчимом и отправился жить к теткам, старым девам, в Ферролу. Он был благочестив, по-пуритански строг и возил платформы с декорациями во время религиозных процессий. В семнадцать лет он прочел, как Толстой осуждает военную службу, и переехал в Буэнос-Айрес, чтобы не служить самому. Постепенно его все больше прибывало к театру и к дальним окраинам анархистского движения. Ведь в Буэнос-Айресе полно анархистов, а сам этот город — один большой театр.

Он присоединился к испанской театральной труппе Серрано-Мендосы и в 1919 году отправился в гастрольное турне по портам Патагонии. Его приезд в Рио-Гальегос совпал с резким понижением цен на шерсть, урезанием зарплат и противостоянием между англо-саксонскими фермерами-овцеводами и их работниками-индейцами. Отсюда, с дальнего конца земли, британцы наблюдали за красной революцией и сравнивали себя с затерянными в степях русскими аристократами. Как-то раз их газета «Магеллан таймс» опубликовала рисунок: в загородном доме помещик в униженной позе пресмыкается перед мускулистым чело-

¹ *Rogón* — кувшин для вина (исп.).

² *Кубинская война* — война за независимость от Испании 1895–1898 годов.

веком, чей торс крест-накрест опоясан пулеметными лентами. Заголовок гласил: «Ночная вакханалия максималистов в усадьбе в Кисловодске. 5000 рублей или жизнь!»

Учителем Сото в Рио-Гальегос стал испанский юрист и денди Хосе Мариа Борреро — мужчина около сорока, с одутловатым от пьянства лицом и с целой линейкой авторучек, выстроившихся в верхнем кармане пиджака. Борреро начал с докторской степени по теологии в Сантьяго-де-Компостелла, а закончил на дальнем юге редактором выходившей раз в две недели газеты «Ла Вердад», изо всех пушек палившей по британской плутократии. Его литературный слог трогал соотечественников до глубины души, и они начинали подражать ему: «В обществе Иуд и Пульчинелл один Борреро сохраняет редкую цельность Человека... среди этих чирикающих толстокожих с их щелкающими зубами и кастрированной совестью».

Борреро зачаровал Сото своей образованностью, бунтарскими разговорами и бунтарской же любовью. Вместе со своим другом, радикалом судьей Виньясом (единственным мотивом которого была личная месть), они привлекли его внимание к бедственному положению чилийцев-эмигрантов и несправедливости *latifundistas*¹. В особенности они выделили двух человек: исполняющего обязанности губернатора англофила Э.Корреру Фалькона и его гнусного полицейского комиссара, шотландца Ричи. Сото легко переключился с театра на политику. Он устроился портовым грузчиком и через несколько недель был избран генеральным секретарем профсоюза.

Перед ним открылась новая жизнь. Его голос как будто вышибал пробку, которая веками затыкала сосуд обиды и негодования чилотов. В его молодости или в его мессианской невинности было что-то, что побуждало этих людей сначала к самопожертвованию, а потом к насилию. Возможно, они видели в нем белого спасителя, обещанного в их легендах.

¹ *Latifundistas* — землевладельцы (исп.).

Он призвал остановить работу, и они послушались; они даже пошли толпами на марш, организованный им в честь одиннадцатой годовщины расстрела Франсиско Ферреры¹ на Монжуике в Барселоне. (Сото говорил, что его чилоты почитают каталонского просветителя так же, как католики Орлеанскую деву или магометане Магомета.) Видя жизнь исключительно как грязную экономическую борьбу, он не шел ни на какие уступки классу собственников. Он шантажировал владельцев гостиниц, торговцев и фермеров-овцеводов. Он заставил их униженно молить о прекращении забастовки, а когда они согласились на все его условия, он только усилил напор и стал еще несдержаннее в высказываниях.

Любые попытки заставить его замолчать проваливались, и в тюрьме его не могли продержать долго, такую силу набрала его фракция. Однажды на пустынной улице в ночи сверкнул нож, но он лишь скользнул по часам в жилетном кармане, и наемный убийца бежал. Это лишь утвердило веру Сото в свое предназначение. Он призвал к общей забастовке, чтобы низложить силы, правящие в Санта-Крус, не замечая, что число его сторонников уменьшается. Местные профсоюзы уладили свои разногласия с работодателями и издевались над его мятежной непрактичностью. Сото в ответ называл их сутенерами, которые работают на бордель «Ла Шоколатерия».

Расставшись с умеренными, Сото начал собственную революцию. Его сторонниками стали те, кто агитировал не словами, а действием, люди, называвшие себя Красным советом. Во главе их стояли итальянцы: дезертир из Тосканы и пьемонтец, некогда изготовлявший пастушек на дрезденской фарфоровой фабрике. В сопровождении пяти сотен лучших всадников Красный совет устраивал атаки на эстансии, добывал там оружие, пищу, лошадей и выпивку, снимал с чилотов все мыслимые запреты, оставлял за собой

¹ **Франсиско Феррера** (1859–1909) — республиканец, близкий к анархистам, арестован и расстрелян за руководство восстанием против колониальной войны в Марокко.

груды покореженного огнем металла и вновь растворялся в степи.

Ричи выслал полицейский патруль, но патруль попал в засаду. Двое полицейских и шофер были убиты. Младший офицер Хорхе Перес Миллан Темперли, молодой человек из высшего общества, питавший слабость к униформе, получил пулю в гениталии. Когда бандиты заставили его поехать вместе с ними, он поминутно падал в обморок от боли.

28 января 1921 года из Буэнос-Айреса морем был выслан 10-й эскадрон Аргентинской кавалерии с приказом от президента Иригойена усмирить провинцию. Командующим был назначен подполковник Гектор Бениньо Варела, маленький солдатик, преисполненный безграничного патриотизма, выученик прусской дисциплины, веривший, что его люди должны оставаться людьми. Поначалу он восстановил против себя иностранных землевладельцев, так как согласно его программе усмирения провинции все сложившие оружие бунтари немедленно получали прощение. Но когда Сото вышел из подполья и объявил полную победу над частной собственностью, армией и государством, подполковник понял, что попал впросак, и сказал: «Если все начнется заново, я вернусь и всех перестреляю».

Пессимисты оказались правы. В ту зиму забастовщики не прекращали движение по всему восточному побережью, грабили, жгли, пикетировали, не давали чиновникам садиться на пароходы. А когда пришла весна, Сото стал планировать вторую кампанию вместе с тремя новыми помощниками (Красный совет попал в засаду): Альбино Аргуэллесом, чиновником-социалистом; Раймоном Утерело, следователем Бакунина и бывшим официантом; и одним гаучо, которого называли Факон Гранде¹, потому что у него был большой нож. Сото все еще верил, что правительство держит нейтралитет, и приказал каждому из своих командиров захватить территорию, на которой они будут устраи-

¹ *Facon grande* — большой нож (исп.).

вать облавы и брать заложников. Втайне он мечтал о революции, которая распространится из Патагонии на всю страну. Он не был ярким человеком, обладал скорее холодным и суровым характером, не спал вместе со своими бойцами, а чилотам было нужно, чтобы их лидер разделял их жизнь до мельчайших подробностей. Они переставали доверять ему.

На сей раз отсутствие доктора Борреро стало вызывать подозрения. Оказалось, у него роман с дочерью эстансьеро и он воспользовался снижением цен на землю, чтобы купить себе собственный участок. Дальше выяснилось, что все это время он получал жалование в «Ла Анонима», компании Брауна и Менендеса. Анархисты не оставили его отступничество незамеченным, высмеяв «тех дегенератов, которые некогда были социалистами и выпивали в кафе за счет рабочих, а теперь, как тартюфы, требуют убийства старых товарищей».

Президент Иригойен призвал Варелу во второй раз и позволил ему применить «крайние меры», чтобы прижать к ногтю забастовщиков. Подполковник высадился в Пунта-Лойола 11 ноября 1921 года и приступил к реквизиции лошадей. Полученные инструкции он истолковал как негласное разрешение на кровавую бойню, но поскольку конгресс отменил смертный приговор, Варела вместе со своими офицерами вынужден был раздувать размеры отрядов чилотов до «военных сил, прекрасно вооруженных и лучше нас оснащенных, — врагов страны, в которой они живут». Военные заявляли, что за этой забастовкой стоит Чили, а когда был пойман русский анархист, с кириллицей в записной книжке, — сразу появилась «красная рука» Москвы.

Ряды забастовщиков таяли без боя. Они не были хорошо вооружены и не умели пользоваться тем оружием, что имели. Армия же направляла донесения о перестрелках и о захваченных ружейных арсеналах. Но однажды «Магеллан таймс» сообщила правду: «Разрозненные банды бунтовщиков, увидев, что дело их проиграно, сдались, и опасные элементы среди них расстреляны».

В пяти отдельных случаях солдаты убедили забастовщиков сдаться, пообещав пощадить их жизни. Всех пятерых потом расстреляли. Расстреляли Утерело и Аргуэллеса. Факона Гранде Варела расстрелял на станции Ярамилло через два дня после того, как объявил его погибшим в бою. Людей расстреливали на краю могил, которые они рыли себе сами, или сжигали тела на кострах из *mata negra*¹, и запах горячей человеческой плоти и древесной смолы поплыл над пампасами.

Конец мечтам Сото наступил на эстансии Ла-Анита, великолепной ферме семьи Менендес. Сото держал своих заложников в зеленом с белым доме, из оранжереи которого в стиле ар-нуво был виден ледник Морено, скользивший сквозь черные леса вниз к серому озеру. Его люди были в стригальне, но начали расходиться группа за группой, стоило им услышать о колонне всадников, поднимающейся по долине.

Особо упорные, возглавляемые двумя немцами, предложили соорудить баррикады из мешков с шерстью, превратить сарай в блокпост и сражаться до последнего. Но Сото сказал, что хочет поскорее убраться отсюда, что он не создан быть пищей псам и продолжит дело либо в горах, либо за границей. Чилоты тоже не хотели сражаться. Но они предпочли поверить слову аргентинского офицера, чем его несбыточным обещаниям.

Сото выслал двух человек к капитану Виньясу Ибарре, чтобы спросить об условиях. «Условия? — расхохотался тот. — Какие еще условия?» — и послал их договариваться об условиях с Иисусом Христом. Тем не менее он не хотел представлять своих людей под огонь и командировал младшего офицера на переговоры. 7 декабря восставшие увидели, как тот осторожно движется в их направлении: гнедая лошадь, человек в хаки, белый флаг и желтые очки, сверкающие на солнце. Его условия: безоговорочная сдача и сохранение жизни. Люди должны были выстроиться на следующее утро во дворе.

¹ *Mata negra* — черный кустарник (исп.).

По решению чилотов Сото был отпущен. В ту ночь он и лидеры восстания взяли лучшие ружья и лошадей и ускакали прочь, вверх через сьерру, и там добрались до Пуэрто-Наталес. Чилийские карабинеры, обещавшие закрыть границу на замок, не сделали ничего, чтобы остановить их.

Чилоты ждали солдат, построившись в три ряда, в домотканой одежде, пропахшей овцами, лошадьми и застоявшейся мочой, их фетровые шляпы были надвинуты глубоко на лоб, а в трех шагах перед собой они сложили свои винтовки и амунизию, свои седла, лассо и ножи.

Они думали, что вернуться домой, что их вышлют из страны и отправят в Чили. Но когда солдаты загнали их обратно в стригальню и застрелили немцев, они поняли, что будет дальше. Около трехсот человек находилось в сарае в ту ночь. Они лежали в овечьих загонах, и огонь свечей мерцал на потолочных балках. Они играли в карты. Есть было нечего.

Дверь отворилась в семь. Сержант с подчеркнуто равнодушным видом роздал кирки рабочей бригаде. Оставшиеся в сарае слышали, как они уходят, а потом — как ударяется металл о камни.

— Могилы роят, — сказали они.

Дверь опять отворилась в одиннадцать. Военные стояли вдоль двора с винтовками наготове. Бывшие заложники смотрели на них. Некий мистер Гарри Бонд сказал, что жаждет по трупу за каждую из тридцати восьми украденных у него лошадей. Солдаты партиями выводили людей на «праведный суд». Решение праведного суда зависело от того, хотел фермер взять человека назад или нет. Точь-в-точь как сортируют овец.

Чилоты были мертвенно-бледны, рты полураскрыты, глаза расширены. Тех, кого не захотели взять, вводили мимо овечьего пруда за низкий холм. Люди во дворе слышали треск выстрелов и видели грифов-индеек, которые со всех сторон слетались к ущелью, рассекая крыльями утренний ветерок.

Около ста двадцати человек умерло в Ла-Аните. «Они шли умирать с поистине поразительной покорностью», — сказал один из их палачей.

За некоторыми исключениями британская община была в восторге от результатов кампании. Подполковник, которого они заподозрили было в трусости, превзошел все ожидания. «Магеллан таймс» воспевала то «великолепное мужество, с которым он шел вдоль линии огня, точно на параде... Патагонцы должны снять шляпы перед 10-м эскадронном Аргентинской кавалерии, перед этими галантными джентльменами». За ланчем в Рио-Гальегос местный президент аргентинской патриотической лиги говорил о «сладостном чувстве этих мгновений» и о своей радости по поводу избавления от красной чумы. Варела отвечал, что он лишь выполнял свой солдатский долг, и двадцать присутствующих британцев, будучи людьми с весьма небольшим запасом испанских слов, разразились песней «Ведь он такой славный парень...».

Во время своей увольнительной солдаты явились в бордель «Ла Каталана», но девушки, которых было больше тридцати, закричали: «Убийцы! Свиньи! Мы не пойдем с убийцами!» Всех девиц забрали в тюрьму: они задели честь мундира, а заодно и национального флага. Среди них была и мисс Мод Фостер, «английская подданная, из хорошей семьи, десять лет проживающая в нашей стране». *Requiescat!*¹

По возвращении Варелу ожидали не приветственные крики в честь героя, а надписи на стенах «Пристрели южного каннибала». Конгрессмены были вне себя от ярости: не то чтобы их заботила судьба Сото и его чилотов, но Варела допустил ошибку, застрелив чиновника-социалиста. Вопрос стоял не столько о том, что сделал подполковник, а о том, кто отдал ему приказания. Все указывали на Иригойена, который был весьма смущен, назначил Варелу директором конной школы и надеялся, что все утихнет само собой.

27 января 1923 года на углу улиц Фицрой и Санта-Фе подполковника Варелу застрелил Курт Уилкенс, анар-

¹ *Requiescat!* — Покойся (с миром)! (лат.)

хист-толстовец из земли Шлезвиг-Гольштейн. Через месяц, 26 февраля, в тюрьме Энкаусадерос Уилкенса застрелил его охранник, Хорхе Перес Миллан Темперли (хотя для всех до сих пор загадка, как он туда проник). А в понедельник 9 февраля 1925 года в Буэнос-Айресе, в спецбольнице для преступивших закон в невменяемом состоянии, Переса Миллана Темперли застрелил один карлик-югослав по имени Лукич.

Человек, снабдивший Лукича пистолетом, и сам представляет собой интересный случай: Борис Владимирович¹, русский аристократ, биолог и артист, живший в Швейцарии и знакомый — или утверждавший, что знаком, — с Лениным. Революция 1905 года довела его до пьянства. У него случился сердечный приступ, и он уехал в Аргентину начинать новую жизнь. Однако старая жизнь затянула его вновь, и он ограбил *bureau de change*², чтобы достать денег на анархистскую пропаганду. При этом погиб человек, и Владимирович получил двадцать пять лет на острове Ушуайя, в тюрьме на самом краю света. Там он пел песни своей родины, и ради спокойствия и тишины губернатор добился его перевода в столицу.

В воскресенье 18 февраля двое русских друзей передали ему револьвер в корзинке с фруктами. Доказать это было очень сложно. Суда не было, но Борис Владимирович навеки исчез в доме скорби.

Борреро умер от туберкулеза в Сантьяго-дель-Эстеро в 1930 году после перестрелки с каким-то журналистом, в которой погиб один из его сыновей.

Антонио Сото умер от церебрального тромбоза 11 мая 1963 года. После революции он жил в Чили, был шахтером, водителем грузовика, киномехаником, торговцем фруктами, работником на ферме и ресторатором. Мне говорили, что в 1945 году он подвизался на литейном заводе миссис Чарлз Амхерст Милворд.

¹ Чатвин трактует русское отчество как южнославянскую фамилию.

² *Bureau de change* — обменный пункт (фр.).

В Рио-Гальегос я остановился в дешевом отеле, выкрашенном в ядовито-зеленый цвет и обслуживавшем рабочих с Чилоэ. Мужчины играли в домино до поздней ночи. Когда я спросил их о революции 1920 года, ответы их были несвязными и путанными; их умы сейчас занимала более недавняя революция¹. Тогда я спросил их о секте колдунов, известных в Чилоэ как Brujería. Я знал о ней немного, но чувствовал, что это способно как-то прояснить поведение чилотов в 1920 году.

— Brujería это просто рассказы, — засмеялись они. Но один старик замолк и помрачнел, услышав это слово.

Секта Brujería существует для того, чтобы наносить вред обычным людям. Даже приблизительно никто не может сказать, где живут те, кто ее возглавляет, но есть по крайней мере два отделения ее Центрального комитета — одно в Буэнос-Айресе, другое в Сантьяго-де-Чили. Какое из них главное, неизвестно; возможно, оба они подчинены какому-то высшему органу. Региональные комитеты рассеяны по провинциям и приказы, исполняемые беспрекословно, получают сверху. Рядовые члены секты не знают даже имен высших функционеров.

На Чилоэ комитет известен как Совет пещеры. Пещера находится где-то в лесу к югу от Квинкави, где-то под землей. Любой, кто в ней побывает, на время теряет память. Если он оказывается грамотным, у него отнимаются руки, и он больше не может писать.

Новички этой секты проходят шестилетний курс посвящения. Поскольку полная его программа известна

¹ Более недавняя революция — военный переворот 11 сентября 1973 года, в результате которого к власти пришла хунта.

лишь Центральному комитету, обучение в островных школах имеет предварительный характер. Когда наставник считает ученика готовым к вступлению в сообщество, то собирается Совет пещеры и подвергает его ряду испытаний.

Кандидат должен погрузиться на сорок дней и сорок ночей в водопад на реке Трайгуен, чтобы смыть все следы христианского крещения (в течение этого срока ему разрешается съесть лишь немного поджаренного хлеба). Следующее испытание состоит в том, что наставник кладет на макушку трехрогой шляпы череп и подбрасывает его, а ученик должен поймать череп с первого раза. Ученик должен убить своего лучшего друга, чтобы показать, что он полностью свободен от человеческих чувств. Должен поставить подпись кровью из собственной вены. Должен выкопать недавно захороненный христианский труп и содрать кожу с его груди. Когда кожа будет обработана и высушена, он сошьет из нее «воровской жилет». Человеческий жир, остающийся в коже, дает то легкое фосфорическое свечение, которое освещает членам секты путь во время их ночных экспедиций.

Полноправные члены секты имеют власть присваивать чужую собственность, превращаться в зверей, влиять на сны и мысли, открывать запертые двери, сводить людей с ума, изменять течение рек, распространять болезни, особенно какие-нибудь новые вирусы, еще не поддающиеся медицине. В некоторых случаях член секты наносит своим жертвам лишь легкие порезы и позволяет им выкупить свою жизнь, принеся на Совет пещеры некоторое количество собственной крови (которую надо приносить в ракушке). Если кто-то окажется настолько глуп, что решит посмеяться над сектой, его усыпляют и выбривают ему голову. И волосы у него не отрастут до тех пор, пока он письменно не покается.

Среди технического оснащения секты имеется Chalanco, кристалл, сквозь который Центральный комитет до самых подробностей может видеть человеческую жизнь. Никто еще не дал точного и полного описания этого устрой-

ства. Одни считают, что это нечто вроде стеклянной чаши, другие — что это большое круглое зеркало, которое излучает и притягивает всепроникающие лучи. Challanco называют Книгой или Картой. Говорят, что Challanco не только не спускает глаз со всех членов секты, но и хранит ее заповеди, которые нельзя расшифровать.

В секту могут входить только мужчины, но она привлекает женщин для передачи срочных сообщений. Женщина, занимающаяся этим, называется Voladora. Обычно доверенный член секты выбирает самую красивую девушку в своей семье и заставляет ее выступить в этой роли. Вернуться к нормальной жизни девушка уже не сможет. Первой стадией ее посвящения является все то же сорокадневное омовение. Одну ночь она должна провести со своим наставником на лесной поляне. Она ничего не видит, кроме сияющей медной тарелки. Наставник отдает приказы, но никогда не появляется. Он приказывает ей раздеться и встать на цыпочки с поднятыми в воздух руками. Глоток какой-то горькой жидкости вызывает в ней приступ рвоты, и тогда наружу выходят все ее внутренности.

— В тарелку! — рычит наставник. — В тарелку!

Освободившись от внутренностей, она становится достаточно легкой, чтобы отрастить у себя птичьи крылья и облететь все места, где живут люди, с истерическим криком. На заре она возвращается к тарелке, заглатывает свои внутренности и принимает человеческую форму.

У секты есть собственный корабль, Caleuche. Перед другими кораблями Caleuche имеет то преимущество, что может плыть против ветра и даже погружаться под воду. Он окрашен в белый цвет. Перекладины его мачт освещены бесчисленными цветными огнями, а с палубы льется опьяняющая музыка. Считается, что он перевозит грузы самых богатых торговцев, каждый из которых является агентом Центрального комитета. Caleuche постоянно нуждается в команде и выкрадывает моряков с архипелага. Если моряк оказывается в чине ниже капитанского, его немедленно высаживают на какой-нибудь одинокой скале. Иногда можно

увидеть безумных матросов, бродящих по берегу и поющих песни Центрального комитета.

Самое же поразительное существо, связанное с сектой, это Invunche, или Хранитель пещеры, человеческое существо, переделанное в монстра при помощи особого научного процесса. Когда секте нужен новый Invunche, Совет приказывает выкрасть мальчика от шести месяцев до года. Над ним сразу начинает трудиться Деформатор, постоянный обитатель пещеры. Он выворачивает в суставах его руки и ноги, ладони и ступни. Затем начинается тонкая работа по изменению положения головы. День за днем он часами выкручивает голову мальчика при помощи жгута, пока голова не оборачивается на 180°, то есть пока ребенок не сможет посмотреть вниз прямо по линии своего позвоночника.

Остается последняя операция, для которой требуется еще один специалист. В полнолуние связанного ребенка кладут на скамью, накрыв ему голову мешком. Второй специалист делает глубокий надрез под правой ключицей. В эту дыру он вставляет правую руку ребенка и зашивает рану жилой, взятой из овечьей шеи. Когда рана заживает, Invunche завершен.

Во время этого процесса ребенка кормят женским молоком. После того как его отлучают от груди, его пищей становится юная человеческая плоть, за которой следует мясо взрослых мужчин. Если эта еда недоступна, женское молоко можно заменить молоком кошки, а человечину — мясом козлят и козлов. Став Хранителем пещеры, Invunche всегда остается нагим и обрастает длинными колючими волосами. Он не умеет говорить, но с годами на практике обучается ритуалам комитета и может отдавать команды новичкам резкими гортанными выкриками.

Иногда Центральный комитет нуждается в непосредственном присутствии Invunche на своих церемониях неизвестного содержания в неизвестных местах. Поскольку это существо неподвижно, приезжает группа экспертов и переносит его по воздуху.

Было бы неправильным полагать, что люди безропотно позволяют секте издеваться над ними. Втайне они объявили войну Центральному комитету и выработали собственную систему разведки и обороны. Они стремятся застать члена секты в момент, когда он творит зло. Застынутый на месте преступления, он не проживет и года. Люди надеются, что однажды доведут свои прослушивающие устройства до совершенства и таким образом проникнут в тайны высших слоев Центрального комитета.

Никто не может припомнить времени, когда Центрального комитета не существовало. Некоторые предполагают, что секта зародилась еще до появления человека. Вероятно также, что человек стал человеком именно в ходе яростного сопротивления этой секте. Мы знаем наверняка, что Challanco означает «злой глаз». Возможно, «Центральный комитет» — это синоним Зверя.

Я переправлялся на Огненную Землю. На северном берегу Первого пролива стоял маяк в оранжево-белых полосах, возвышаясь над пляжем, устланным сверкающей галькой, багряными мидиями и пурпуром разломанных крабов. У самого края воды ловцы устриц искали моллюсков в грудах рубиново-красных водорослей. Меньше чем в двух милях лежала пепельная полоса побережья Тьерра-дель-Фуэго.

Несколько грузовиков в ожидании прилива, который должен был пригнать два парома с того берега, выстроились в ряд у жестяной стены закуской. Там же стояли трое древних шотландцев. Глаза у них были красные от лопнувших сосудов, и голубые, как у младенцев, зубы сточились, превратившись в маленькие коричневые горошины. Внутри крепкая женщина в самом соку, сидя на скамье, расчесывала волосы, а ее спутник, водитель грузовика, клал кусочки мортаделлы ей на язык.

Приближающийся прилив выбрасывал на откос пляжа целые тюфяки из водорослей. С запада надвигался штормовой ветер. На более спокойном участке вод пара уток-пароходов ворковала «так-так... так-так... так-так...», ведя супружескую беседу. Я кинул камешек в их сторону, но не сумел заставить их отвлечься друг от друга и хотя бы шевельнуть широкими гребковыми крыльями.

Магелланов пролив — еще один из примеров того, как природа подражает искусству. Нюрнбергский картограф Мартин Бехайм в свое время нарисовал юго-западный проход, который предстояло открыть Магеллану. Он исходил из вполне обоснованных предпосылок. Южная Америка, сколь бы необычной она ни была, все же вполне нормальна по сравнению с неведомым Антарктическим континентом, Антихтоном пифагорейцев, отмеченным словом «Туманы» на

средневековых картах. На этой Земле-вверх-Тормашками снег падает вверх, деревья растут вниз, солнце — черное, а шестнадцатипалые антиподы танцуют, впадая в экстаз. Мы «не можем прийти к ним», как было сказано, «они не могут прийти к нам». Разумеется, эта химерическая земля должна отделяться от остального Творения какой-то водной преградой.

21 октября 1520 года, в День святой Урсулы и ее одиннадцати тысяч дев (потерпевших кораблекрушение), корабль обогнул мыс, названный капитаном Кабо-Виргинес¹. Перед ними зияла бухта, по всей видимости, не имеющая выхода к морю. Но ночью с северо-запада подул сильный ветер и унес «Концепсьон» и «Сан-Антонио» через Первый пролив, затем через Второй пролив и прямо на широкий водный простор, открытый к юго-западу. Когда они увидели волны прилива, они догадались, что путь этот ведет еще дальше в открытый океан. С этими новостями они вернулись к своему флагману. Ответом им были приветственные крики, канонады и взметнувшиеся флажки.

На северном побережье отряд матросов обнаружил кита, выбросившегося на мель, а потом кладбище еще двух сотен китовых трупов, лежавших на тихих водах. На южном берегу они уже не высаживались.

Тьерра-дель-Фуэго — Огненная Земля. Огни — это походные огни ее обитателей, индейцев. По другой версии, Магеллан увидел только дым и назвал ее Тьерра-дель-Умо, Дымная Земля, но Карл V сказал, что дыма без огня не бывает, и переименовал ее.

Теперь все индейцы Огненной Земли мертвы, и огни их потушены. Только факелы нефтяных вышек еще выбрасывают дымные облака в ночное небо.

Пока в 1619 году голландский флот Схаутена и Ле Мера не обогнул мыс Горн и не назвал его этим именем — не из-за формы, а в честь города Хоорн на Зюйдер-Зее, — картографы рисовали Тьерра-дель-Фуэго, Огненную Землю, как

¹ Кабо-Виргинес (исп.) — мыс Девственниц.

часть Антихтона и заселяли подобающими чудищами: горгонами, русалками и птицей Рок, этим кондором-переростком, способным унести слона.

Данте поместил холм Чистилища в центре Антихтона. В Песне 26 его «Ада» Улисс, отнесенный в своем безумном плавании к югу, видит остров-гору, неясно вырисовывающуюся в морской дали, видит в тот момент, когда волны смыкаются над его кораблем — *infin che'l mar fu sopra noi richiuso*, — погибающим из-за его страсти к преодолению границ, положенных человеку.

Огненная Земля в таком случае — это земля Сатаны, где точно светляки летней ночью мерцают неверные огни и тени предателей в сужающихся кругах ада вмурованы в лед и «сквозят глубоко, как в стекле сучок».

Вот почему, вероятно, они и не высадились.

Волны прилива уже подбирались к паромам. Солнце, окунувшееся в облачную грядку, уже золотило ее нижний край, опускаясь посреди пролива. Поток шафранного света превратил волны из маслянисто-черных в светло-зеленые, а брызги окрасились золотисто-салатовым.

*...Юго-восточный путь, открытый мной,
Пролив, где я закончу путь земной...*

Последние строфы Дона, его «последний вздох» — через камни и мелководья в сияющую беспредельность:

*Где будет дом мой? Тихий океан?
Восточный берег? Иерусалим?
Гибралтар, Аниан, Магеллан —
Проливы лишь ведут к краям таким,
Будь Иафет им царь, иль Хам, иль Сим.*

Челюсти паромов разомкнулись, чтобы впустить грузовики, но никому не разрешили взойти на борт, пока на паром не поднялся офицер чилийской армии. Это был красивый гордый молодой человек необычайно высокого

роста со старомодно вежливыми немецкими манерами. Красная полоска сбегала вниз по его серым брюкам. Его изящные розовые ногти некоторое время реяли над моим паспортом, ненадолго замерли над польской визой и отправились дальше.

От двигателей, взбивавших воду в пену, растекалось радужное масляное пятно. Запах от грузовика с овцами привлек стаи морских птиц — чаек, гигантских буревестников, чернобровых альбатросов, — круживших вокруг парома, пока тот полз, как краб, поперек течения по невысоким ломающимся волнам. Взлетая, альбатросы распаивали себя навстречу ветру, огромные перепончатые лапы бороздили воду, взбивая облака брызг, пока режущий край крыла не поднимал их в воздух.

*И мертвый альбатрос на мне
Висит взамен креста.*

Натаниел Готорн¹ однажды видел в музее чучело большого странствующего альбатроса с двенадцатифутовым размахом крыльев, и мысль о том, что такая птица могла висеть на шее Морехода, поразила его как еще один пример полной абсурдности всего стихотворения. Но альбатрос Колриджа был птицей гораздо меньшего размера. Вот отрывок из записок о путешествии капитана Шевлюка, который может выступить в защиту этих строк:

Небеса неизменно оставались сокрытыми от нас под далекими мрачными облаками... нельзя было представить себе, что какое бы то ни было живое существо могло выжить в столь тяжёлом климате, и в самом деле... мы не видели ни одной рыбы, ни одной морской птицы, кроме безутешного черного альбатроса, парившего рядом с нами, словно он потерял самого себя... до тех пор, пока Хатли (мой второй помощник) не заметил в приступе свойствен-

¹ Натаниел Готорн (1804–1864) — американский писатель, автор романтических фантастических новелл.

ной ему меланхолии, что птица эта все время летит рядом, и не вообразил, что цвет ее служит каким-то дурным предзнаменованием... И после нескольких бесплодных попыток он застрелил альбатроса, не сомневаясь, вероятно, что теперь в наши паруса подует хороший попутный ветер.

Есть два претендента на место такого альбатроса, и я видел обоих на Тьерра-дель-Фуэго: темноспинный дымчатый альбатрос, застенчивая птица, сплошь дымно-серого цвета и известная среди моряков как вонючка или пророк; или, что менее вероятно, чернобровый альбатрос, или глупыш, бесстрашная птица, любящая общество человека.

Когда мы были на середине пролива, над нами сверкнул клин черно-белых бакланов, а рядом в золотом море протанцевала стая черно-белых дельфинов.

За день до этого я встретил монахинь из монастыря Санта-Мария Ауксилиадора, ехавших субботним автобусом в колонию пингвинов на Кабо-Виргинес. Целый автобус, наполненный девственницами. Одиннадцать тысяч девственниц. Около миллиона пингвинов. Черно-белых. Черно-белых. Черно-белых.

Два инженера-нефтяника отвезли меня в Рио-Гранде, единственный город на восточном побережье острова. Некогда, во времена английской мясной торговли, город процветал. Теперь, временно, он был передан Израилю.

Группа молодых резников прилетела из Тель-Авива — резать скот по правилам кошрута. Умелое владение ножом сдружило их с местными рабочими, а вот управляющих смуглили две особенности их поведения: во-первых, их патриархальные методы убоя помешали работе конвейера, а во-вторых, после дневной работы они плавали в реке голыми, смывая кровь со своих твердых, белых, мускулистых тел.

Пешком под проливным дождем я дошел по побережью до колледжа отцов-салезианцев. Колледж начинался как миссия (или тюрьма) для индейцев, а когда индейцев не стало, из него сделали сельскохозяйственный институт.

Отцы-салезианцы были выдающимися таксидермистами и знатоками оборчатых пеларгоний. В тот день по музею дежурил священник в очках со стальной оправой; он попросил меня присесть и подождать, пока он вырезает глаз у молодого гуанако. Его окровавленные ладони резко контрастировали с бескровными бледными предплечьями. Перед моим приходом он лакировал огромного морского паука, и запах ацетата наполнял комнату. На стенах расселся целый птичник готовых чучел. Крашенные багряные клювы кричали на своего хранителя ужасающей тишиной.

Вошел молодой священник из Вероны с ключом. Музей располагался в старой церкви, принадлежавшей еще миссии. На Огненной Земле жили индейцы племен она и хауш, пешие охотники, и алакалуфы и яганы — охотники на каноэ. И те и другие были неутомимыми кочевниками и обладали

только тем, что могли унести на себе. Их кости разлагались на стеклянных полках рядом со снаряжением: луки, наконечники, гарпуны, корзины, накидки из гуанако — и тут же образчики материального прогресса, принесенные Богом, который учил их не верить духам мха и камня и усадил за пяльцы, вязание крючком и упражнения (тетрадки в соседней витрине).

Священник был тихий молодой человек с тяжелыми веками. Он проводил время, наблюдая, как падает столбик барометра, и раскапывая стоянки племени она в поисках древностей. Он взял меня с собой на какие-то зеленые насыпи вдоль берега. Взрезав одну из них лопатой, он обнажил пурпурный пирог из ракушек, пепла и костей.

— Смотрите, — закричал он, — нижняя челюсть собаки индейцев она!

В музее уже хранился набитый опилками экземпляр этой древней породы, жилистой, остромордой, теперь подавленной генами шотландской овчарки.

Человек, с которым я повстречался в Рио-Гранде, направил меня к своему кузену, хозяйствовавшему на ферме недалеко от чилийской границы. За городом на серо-зеленом холме лежала эстансия Хосе Менендеса. Вся в осыпающейся краске, она была похожа на крейсер, севший на мель. Над дверью в стригальню была надпись золотом «Хосе Менендес», а над ней отлично вылепленная голова призового барана. С кухонь пеонов доносился запах бараньего жира.

По ту сторону построек грязная дорога начинала кружить и петлять по пампасам между загонами. Ряды тысячелистника росли вдоль ограды. Я подошел к жилищам пеонов уже в сумерках. Залаяли сразу две овчарки, но чилиец отозвал их и знаком пригласил меня внутрь. Пылала железная печь, старуха развешивала белье на проволоке. Комната была голая, очень чистая. На стенах висели фотографии Гитлера и генерала Росаса, приклеенные давным-давно и потемневшие от смоляного дыма. Старик посадил меня на холщовый стул и неопределенно отвечал «да» и «нет» на все мои вопросы.

Старуха отправилась на кухню и вернулась с тарелкой тушеного мяса. Медленно и аккуратно она поставила ее на стол вместе с ножом и вилкой — раз, два, раз, два. Я поблагодарил ее, она отвернулась к стене.

Вошел молодой гаучо в бомбачас, держа в руках тисненое кожаное седло. Он отправился в свою комнату и положил седло на подставку в ногах постели. Теперь слышались два звука — потрескивание огня и скрип начищаемого седла.

Старик встал и выглянул в окно. По травянистой обочине скакал всадник.

— Эстебан, — крикнул он старухе.

Всадник привязал свою лошадь к ограде и широко шагами вошел в дом. Старуха уже подала ему на стол гарелку. Это был высокий человек с красным лицом. За едой он говорил о падении цен на шерсть, о провинции Корриент, в которой родился, и о Германии, в которой родился его отец до него.

— Ты английский? — спросил он. — Когда-то здесь много английский. Владельцы, управляющие, *sarataces*¹. Цивилизованный люди. Германия и Англия — цивилизация! Другой — *barbaridad*²! Эта эстансия. Управляющий — английский. Индейский убивать овцу. Английский убивать индейский. Ха!

Затем мы заговорили о мистере Александре Мак-Леннана, который служил на эстансии управляющим в 1899 году и был больше известен под именем Рыжая Свинья.

¹ *Sarataces* — надсмотрщики (исп.).

² *Barbaridad* — варварство (исп.).

В 1905 году грубая версия дарвиновской эволюционной теории, зародившейся в Патагонии, вернулась на родину и, по-видимому, ввела в моду охоту на индейцев. Лозунг «Выживают сильнейшие», винчестер и пулеметная лента подарили некоторым европейским телам иллюзию превосходства над куда более сильными телами аборигенов.

Индейцы она из Тьерра-дель-Фуэго охотились на гуанако с тех пор, как Каукс, их предок, разделил остров на тридцать девять территорий — по одной на каждую семью. Семьи ссорились по пустякам, это правда, но в основном из-за женщин, и не думали расширять свои границы.

Затем пришли бледнолицые с их новыми гуанако — овцами и повой границей — колючей проволокой. Сначала индейцам понравился вкус жареной баранины, но вскоре они научились бояться другого, большего, коричневого гуанако и всадника на нем, плевавшего невидимой смертью.

Они крали овец, угрожая прибылям компаний (в Буэнос-Айресе ученый Юлиус Поппер говорил об их опасных коммунистических наклонностях), и общим решением стало согнать всех индейцев и цивилизовать их в миссии — где они умирали от инфекций и от отчаяния плена. Александр МакЛеннан презирал такую медленную пытку: она оскорбляла его охотничий инстинкт.

Мальчиком он променял мокрые сланцы Шотландии на бесконечные горизонты Британской империи. Он вырос физически сильным человеком, с плоским лицом, покрасневшим от виски и тропиков, с бледно-рыжими волосами и глазами, которые вспыхивали то голубым, то зеленым. Он был сержантом Горация Китченера в битве при Омдурмане¹. Он видел оба Нила, сводчатую гробни-

цу, лоскутные джиббахи и «кучерявых» — жителей пустыни, которые смазывали волосы козьим жиром, а во время кавалерийских атак ложились на землю и короткими загнутыми клинками выпускали кишки лошадям. Возможно, уже тогда он понял, что дикие номады не поддаются дрессировке.

Он ушел из армии, был завербован агентами Хосе Менендеса и смог добиться успеха там, где его предшественники терпели неудачу. Собаки, лошади и пеоны обожали его. Он был не из тех управляющих, что предлагают один фунт стерлингов за каждое индейское ухо: он предпочитал убивать собственноручно. Он не выносил, чтобы животные страдали.

В лагере она были предатели. Однажды какой-то отступник, обиженный на соплеменников, явился к Мак-Леннану и сообщил, что группа охотников-индейцев направляется в колонию тюленей на Кабо-де-Пеньяс, к югу от Рио-Гранде. Охотники забивали тюленей в небольшой закрытой бухте. С обрывов Рыжая Свинья и его люди смотрели, как краснеет пляж от крови и как подступающий прилив теснит индейцев в пределы досягаемости ружейных выстрелов. В тот день они сложили в мешок по крайней мере четырнадцать голов.

— Гуманный акт! — сказал Рыжая Свинья. — Если только кишка у тебя не тонка.

Но среди она все же нашелся один быстрый и смелый человек, меткий стрелок по имени Тэапелт, который специализировался на отстреле белых убийц, отправляя холодное, избирательное правосудие. Тэапелт выслеживал Рыжую Свинью и однажды настиг его и начальника местной полиции во время охоты на людей. Одна стрела пронзила шею полицейского. Другая вонзилась шотландцу в плечо, но тот выжил и впоследствии сделал себе галстучную булавку из ее наконечника.

¹ **Омдурман** — самопровозглашенная столица Судана, оплот махдистов, радикального исламского движения. В битве при Омдурмане (1898) махдисты были разбиты англо-египетскими войсками под командованием Г. Китченера.

Рыжая Свинья нашел возмездие в напиток своей родной страны. Он пил дни и ночи напролет, пока семья Менендес не уволила его. Вместе с женой Бертой он вернулся в свое бунгало в Пунта-Аренас и умер от белой горячки в возрасте около 45 лет.

— Но индейцы все же добрались до Рыжей Свиньи, знаете ли.

Рассказчица — одна из двух английских леди, старых дев, которых я позже встретил в Чили. Обеим было около семидесяти. Их отец служил управляющим на бойне в Патагонии, и они приехали на юг навестить старых друзей. Они жили в квартире в Сантьяго. Это были приятные леди, и разговаривали они так, как разговаривают приятные леди.

У обеих лица были покрыты косметикой. Брови себе они выщипали и нарисовали другие, чуть повыше. Старшая сестра была блондинкой, вернее, с ярко-золотыми волосами, седыми у корней. Ее губы изгибались алыми дугами, а веки зелеными. Младшая была брюнеткой. Ее волосы, брови, костюм, сумочка и шейный платок в горошек — все были сочетающихся шоколадных оттенков; даже губы у нее были красновато-коричневые.

Они пили чай вместе с приятельницей, а с моря к ним пришло солнце, которое наполнило светом комнату и заиграло на их разрисованных, расчерченных лицах.

— О, мы очень хорошо знали Рыжую Свинью, — сказала блондинка, — когда мы были совсем девочками, в Пунта-Аренас. Они с Бертой жили в смешном маленьком домике за углом. Конец его был ужасен. Ужасен! Все время видел индейцев во сне. Все эти луки, стрелы, знаете ли. И все требуют его крови! Однажды он проснулся, а индейцы стоят возле его постели и кричат: «Не убивай нас! Не убивай нас!» — и он выбежал из дому. Берта побежала за ним по улице, но не смогла догнать, и он убежал в лес. Его искали несколько дней. И наконец какой-то пеон нашел его на пастбище среди коров. Голым! На четвереньках! Он ел траву! И ревел, как бык, потому что думал, что он и есть бык. И разумеется, это был конец.

Я было устроился на свободной кровати, которую предложил мне немец Эстебан, но потом мы увидели огни машины в ночи. Это было такси, оно везло пеона на ту же эстансию, куда собирался и я. Меня высадили у парадного въезда.

— Ну он по крайней мере говорит по-английски.

Голос донесся из гостиной, где горел камин.

Мисс Нита Старлинг — маленькая, проворная англичанка с короткими седыми волосами, узкими запястьями и невероятно твердым выражением лица. Владельцы эстанции пригласили ее помочь с садом. Теперь они не хотели ее отпускать. Работая в любую погоду, она соорудила новые бордюры и сад камней. Она прополосала клубнику и превратила заросший сорняками клочок земли в цветущую лужайку.

— Мне всегда хотелось развести сад в Тьерра-дель-Фуэго, — говорила она на следующее утро, и дождик омыл ее лицо, — и теперь я могу сказать, что мне это удалось.

В молодости мисс Старлинг была фотографом, но потом стала презирать камеру. «Всякую радость убивает», — сказала она. И она устроилась садоводом в один знаменитый питомник на юге Англии. Особенно ее привлекали цветущие кустарники. Цветущие кустарники спасали ее от серых дней, проходивших в заботах о больной матери, и постепенно она начала предпочитать их жизнь своей собственной. Она жалела их, столь противоестественно втиснутых в кадки и горшки да еще под стекло; ей нравилось представлять, как они растут на воле, в горах и лесах, и в воображении она путешествовала в дальние страны, подписанные на табличках.

После смерти матери мисс Старлинг продала дом вместе с обстановкой. Она купила легкий чемодан и раз-

дала одежду, которую никогда не стала бы носить. Упаковав чемодан, она прошла с ним по округе, проверяя его на легкость. Носильщикам мисс Старлинг не доверяла. На всякий случай она положила в чемодан одно длинное вечернее платье.

— Никогда не знаешь, куда тебя занесет, — пояснила она.

Вот уже семь лет она путешествует и надеется путешествовать и дальше, пока не упадет замертво. Теперь цветущие кустарники с ней не расставались. Она знала, когда и где они зацветают. Она никогда не летала на самолетах и зарабатывала на проезд, давая уроки английского и садовничая при случае.

Она видела южноафриканский вельд, пламенеющий цветами, лилии и земляничные деревья в лесах Орегона, сосновые леса Британской Колумбии и удивительную, первозданную флору Западной Австралии, отрезанную морем и пустыней от растений других частей света. Австралийцы давали очень смешные имена своим растениям: «лапа кенгуру», «динозаврова трава», «джерардтаунская восковая трава» и «Билли-черный-мальчик».

Она видела цветение вишни и сады дзен в Киото и осенние краски Хоккайдо. Она любила Японию и японцев. В одном отеле у нее был любовник, годившийся ей в сыновья. Она давала ему дополнительные уроки английского, а кроме того, молодые в Японии сами предпочитают тех, кто постарше.

В Гонконге мисс Старлинг столовалась у женщины по имени миссис Вуд.

— Страшная женщина, — сказал мисс Старлинг. — Она притворялась англичанкой.

У миссис Вуд была старая служанка по имени Ах-хиг. У Ах-хиг сложилось впечатление, что она работает на англичанку, но Ах-хиг не могла понять, почему эта истинная англичанка обращается с ней, Ах-хиг, таким ужасным образом.

— Но я сказала ей правду, — продолжила мисс Старлинг. — Ах-хиг, сказала я, твоя хозяйка вовсе не англичанка.

Она русская еврейка. И Ах-хиг расстроилась: она поняла, почему с ней так плохо обращались.

У миссис Вуд мисс Старлинг пережила одно приключение. Как-то раз, стоя у входной двери, она рылась в поисках ключа, и незнакомый молодой китаец приставил ей к горлу нож и потребовал сумку.

— И вы отдали, — подытожил я.

— Ничего подобного. Я укусила его за руку. Ясно было, что он боится еще больше, чем я. Профессиональным грабителем его не назовешь. Одно обидно: еще чуть-чуть — и я бы уже отобрала у него нож. Ужасно хотелось бы оставить его себе на память.

Мисс Старлинг собиралась в Непал — на азалии: «не в этом мае, но в следующем». А потом она предвкушала первую в своей жизни осень в Северной Америке. Ей нравилась Тьерра-дель-Фуэго. Она обошла леса *Notofagus antarctica*. В питомнике они тоже продавались.

— Здесь прекрасно, — сказала она и взглянула мимо фермы на черную полосу, где кончалась трава и начинался лес. — Но я бы не хотела вернуться сюда еще раз.

— Я тоже, — сказал я.

Я двинулся дальше, в самый южный город мира. Начало городу Ушуайя положил сборный домик миссии, установленный в 1869 году его преподобием У.-Х.Стирлингом рядом с лачугами индейцев племени яганов. В течение следующих шестнадцати лет здесь все процветало: англиканская вера, овощные грядки и индейцы. Затем вошел аргентинский флот, и индейцы умерли от кори и пневмонии.

Поселение постепенно превратилось из морской базы в каторжную тюрьму. Инспектор тюрем спроектировал настоящий шедевр из тесаного камня и цемента, надежнее, чем сибирские остроги. Его простые серые стены, прорезанные невероятно узкими щелями, располагались к востоку от города. Теперь помещения тюрьмы отданы под казармы.

Каждое утро в Ушуайя начинается с мертвого шторма. Через пролив Бигл можно увидеть зубчатую линию острова Хосте, лежащего напротив пролива Муррей, ведущего дальше к архипелагу Горн. К полудню вода начинает кипеть и плескаться, и дальний берег закрывается от вас стеной пара.

Голуболицые обитатели этого города, в котором нет детей, на чужаков смотрели неприветливо. Люди здесь работают на консервном заводе, перерабатывающем крабов, или на военных верфях, постоянно загруженных из-за холодной войны с Чили, которую развязывают то и дело и по каждому пустяку. Последний дом перед казармами — бордель. Во дворе растут кочаны капусты, белые, как черепа. Когда я проходил мимо, румяная женщина вытряхивала мусор из корзины. На ней была черная китайская шаль, украшенная розовыми анилиновыми пионами. Она сказала: «¿Qué tal?» — и подарила мне единственную честную веселую улыбку, которую я встретил в Ушуайя. Очевидно, ее положение здесь совершенно ее устраивало.

Охранник отказался пропустить меня в казармы. Я хотел осмотреть старый тюремный двор, потому что читал о самом знаменитом узнике Ушуайя.

История анархистов является заключительной главой древней распри скитальца Авеля с накопителем и собственником Каином. Втайне я подозреваю, что Абель тоже любил поддеть Каина «смертью буржуазии». И весьма уместно, что героем следующей истории оказался еврей.

Майский день 1909 года в Буэнос-Айресе был холодным и солнечным. Утром колонны мужчин в плоских кепках начали наполнять Пласа-Лореа. Вскоре площадь заpestрела красными флагами и зазвенела от криков.

В водовороте толпы был и Симон Радовицкий, рыжеволосый юноша из Киева, невысокий, но физически сильный, так как работал в железнодорожном депо. У него были большие уши и начинали пробиваться усы. Его лицо было залито бледностью гетто — «кожа неприятно-белая», говорилось в полицейском досье. Выступающий квадратный подбородок и низкий лоб свидетельствовали об ограниченном интеллекте и безграничной убежденности.

Булыжники под ногами, дыхание толпы, оштукатуренные здания и деревья на тротуарах; ружья, лошади и полицейские шлемы напоминали Радовицкому его родной город времен революции 1905 года. Скрипучие голоса смешивали итальянский и испанский. Раздался крик: «Долой казаков!» И мятежники, утратив способность рассуждать, кинулись бить магазинные витрины и выпрягать лошадей.

Симон Радовицкий уже отсидел в царской тюрьме. В Аргентине он пробыл три месяца — жил вместе с другими русско-еврейскими анархистами в многоквартирном доме. Он пьянел от их горячих речей и обдумывал террористическую акцию.

Перегородив Авенида-де-Майо, кавалерийский за-слон и единственный автомобиль сдерживали движение толп. В автомобиле сидел шеф полиции, полковник Рамон Фалькон, бесстрашный человек с орлиным взором. Те, кто был в первых рядах, сразу заметили своего врага и начали выкрикивать оскорбления. Спокойно, без тени волнения он пересчитал их и удалился.

За этим последовал шквал выстрелов, атака кавале-рии, трое человек погибло, сорок было ранено (журнали-сты насчитали тридцать шесть луж крови). Полиция за-явила о необходимой самообороне, а кроме того, раскопала листовки, написанные на иврите, — это позволило воз-ложить ответственность за беспорядки на чуму русского нигилизма, заразившую всю страну в результате попусти-тельства иммиграционных служб. В Аргентине слова «рус-ский» и «еврей» означают одно и то же.

Второй акт этой пьесы начался зимой того же года. Презируя вооруженную охрану, полковник Фалькон ехал в своей машине с похорон друга, директора государственных тюрем. Вместе с ним ехал его молодой секретарь Альберто Лартигау, еще только учившийся быть мужчиной. На углу Авенида-Квинтана их уже поджидал Симон Радовицкий со свертком в руках. Точно рассчитав время, он вытряхнул содер-жимое свертка в машину, отпрыгнул назад, чтобы увернуться от взрыва, и побежал в сторону строительной площадки.

Ему не повезло. Какие-то прохожие позвали двух полицейских. Пуля прошла у него под правой лопаткой, его начали бить, и он упал, скрежеща зубами. «Viva Anar-quia! — кричал он срывающимся голосом. — Я — ничто, но у меня есть бомба для каждого из вас!»

Полковник Фалькон, превратившийся в кровавую массу развороченных членов и артерий, еще находился в сознании и смог назвать свое имя.

— Ничего страшного, — сказал он. — Сперва займи-тесь мальчиком.

В больнице он умер от шока и потери крови. Ларти-гау в тот же день перенес ампутацию.

«Симон Радовицкий принадлежит к классу рабов, который произрастает в русских степях и прозябает в суровейшем климате и в ужасном подчиненном положении». Далее общественный обвинитель указал на некоторые особенности телосложения, свидетельствующие о преступных наклонностях подсудимого. Человек сочувливый и гуманный, он просил о смертном приговоре, но судья не мог утвердить его до тех пор, пока не выяснит возраста убийцы.

В этот момент объявился Моисей Радовицкий, раввин и старьевщик, со свидетельством о рождении своего двоюродного брата. Когда каракули в свидетельстве расшифровали, суду стало известно, что подсудимому восемнадцать лет и семь месяцев и что он слишком молод для расстрела, но не для пожизненного заключения. Судья распорядился, чтобы каждую годовщину совершенного им преступления узник отмечал двадцатью днями карцера, на хлебе и воде.

Симон Радовицкий исчез в кишасщем крысами железобетонном лабиринте. Два года спустя его перевели в Ушуайя (тюрьма в столице была недостаточно надежна для него). Однажды ночью заключенных, шестьдесят двух человек, раздели догола, подвергли медицинскому осмотру и заковали в кандалы. Рефлекторы на набережной освещали путь процессии вплоть до трапа на борт корабля. Путешествие началось мертвым штилем и закончилось патагонскими штормами. Заключенные пережили новое рождение в корабельном трюме. К концу путешествия они были черны от угольной пыли, а на их икрах зияли глубокие язвы от железных кандалов.

Присущая его народу неистовость в надеждах и определенная склонность к унижению протащили Радовицкого через долгие годы баланды. Несколько семейных фотографий составляли всю его собственность. Каждое новое издевательство он встречал с улыбкой и открыл в себе способность руководить людьми. Заключенные полюбили его, стали приходить к нему со своими бедами, он возглавлял их голодные забастовки.

Признав силу его влияния, тюремное начальство возненавидело его еще больше. Охранникам велели светить ему фонарем в лицо каждые полчаса, когда он спал. В 1918 году заместитель губернатора Грегорио Паласиос, возжаждав его белой плоти и желая унижить его еще больше, изнасиловал его. Трое охранников держали его лицом вниз и насиловали по очереди. Они били узника по голове и исполосовали его спину рубцами и порезами.

Вести об этом дошли до друзей Радовицкого в столице, и они опубликовали то, что смогли узнать, под заголовком «La Sodoma Fuegina»¹. Русская революция была в разгаре. «Свободу Радовицкому!» — было написано на каждой стене в Буэнос-Айресе. Несколько самых предприимчивых анархистов замыслили устроить мученику побег.

Единственным человеком, способным это осуществить, был Паскуалино Рисполи, «последний пират Тьеррадель-Фуэго», неаполитанец, который выследил своего сбегавшего отца вплоть до бара «Альгамбра» в Пунта-Аренас да там и остался. У Паскуалино был маленький катер, официально — для охоты на тюленей и каланов, а неофициально — для контрабанды и грабежа судов, потерпевших кораблекрушение. Он плавал в любую погоду, выбрасывал за борт тех, кто не умел держать язык за зубами, постоянно проигрывался в карты и был открыт любому деловому предложению.

Как-то в октябре 1918 года двое аргентинских анархистов наняли Паскуалино для организации побега из тюрьмы. Катер бросил якорь неподалеку от берега Ушуйая 4 ноября. Через три дня на рассвете Радовицкий в форме охранника, ставшего его соучастником, вышел из тюремных ворот. Небольшой ялик перевез его на борт, и прежде чем раздался звук сирен, катер уже исчез в лабиринте проливов, в котором четыре года спустя ускользнет от британского флота немецкий крейсер «Дрезден».

¹ *La Sodoma Fuegina* — Огнеземельский Содом (исп.).

Неаполитанец собирался снабдить беглеца припасами и оставить на отдаленном острове до тех пор, пока не уляжется вся шумиха. Но зловещие тропические леса отпугнули городскую душу Радовицкого, и он настоял, чтобы его доставили в Пунта-Аренас.

В это же время чилийский флот дал согласие на сотрудничество с аргентинской полицией. Их буксирный пароход «Яньес» захватил катер, уже почти добравшийся до причала, но лишь после того, как Паскуалино заставил своего пассажира вплавь добраться до берега и укрыться в лесу. Не обнаружив ничего, но подозревая все, военные увезли нескольких матросов в Пунта-Аренас, и в полиции им пришлось заговорить. «Яньес» на всех парах устремился вдоль побережья и застал Паскуалино в момент, когда тот ссаживал Радовицкого на берег с бочонками провизии. Беглец неподвижно залег под водой, под прикрытием катера, но спастись было невозможно. Карабинеры окружили их. Замерзший, изможденный Радовицкий сдался и был доставлен обратно в Ушуайя.

Прошло двенадцать лет. Затем в 1930 году президент Иригойен в качестве жеста доброй воли по отношению к рабочему классу даровал свободу Радовицкому. Майской ночью бывший заключенный, стоя на борту военного судна, всматривался в огни Буэнос-Айреса, однако сойти на берег ему не пришлось. Охранники перевели его на паром, шедший до Монтевидео. Иригойен тайне пообещал полицейскому начальству убрать Радовицкого с аргентинской земли.

Без денег, без документов, в одежде не по размеру, доставшейся ему от какого-то турка в Ушуайя, эта «жертва буржуазии» спустилась вниз по корабельному трапу под приветственные крики толпы анархистов. Комитет по организации торжественной встречи надеялся на зажигающие слова и жесты истинного бунтаря и был крайне разочарован при виде растерянного человека с мягкими манерами, с синевато-багровыми жилами, перечеркивающими лицо, и тяжелыми надбровными дугами, который слабо улыбался и не знал, куда девать руки.

Новые друзья обняли его и затолкали в такси. Он пытался отвечать на их вопросы, но все время вспоминал друзей в Ушуайя. Перенести разлуку с ними, сказал он, выше его сил. На расспросы о его страданиях он отвечал невнятно и вытащил лист бумаги, по которому зачитал слова благодарности доктору Иригойену от имени международного пролетариата. Когда он сказал, что хочет вернуться в Россию, анархисты засмеялись. Человек не слыхал даже о бойне в Кронштадте.

На свободе Радовицкого вновь ожидали безвестность и нервное истощение. Он занимался тем, что передавал послания своих друзей бразильским товарищам. Однажды он столкнулся с уругвайской полицией и был приговорен к домашнему аресту, а поскольку дома у него не было, его снова посадили в тюрьму.

В 1936 году он отплыл в Испанию. Три года спустя он оказался среди сломленных людей, которые колошами брели через Пиренеи во Францию. Оттуда он уехал в Мексику, где один поэт достал ему место служащего в уругвайском консульстве. Он писал статьи, которые в нескольких экземплярах печатались на мимеографе, и делил свою пенсию с женщиной, возможно, единственной, которую когда-либо знал. Иногда он навещал своих родственников в Соединенных Штатах, где они вполне преуспевали.

Симон Радовицкий умер от сердечного приступа в 1956 году.

61

В тот год, когда народы Европы решали судьбы XIX века на равнине Ватерлоо, на проливе Муррей родился мальчик, впоследствии внесший свой скромный вклад в решение судьбы века двадцатого.

Местом его рождения стала беседка, сделанная из молодых зеленых побегов, дерна и прогорклых тюленьих шкур. Его мать перерезала пуповину острой ракушкой и прижала голову младенца к своей медно-красной груди. В течение двух лет эта грудь была центром его мира. Он всюду сопровождал ее: на рыбалку, на сбор ягод, по реке в каноэ навестить двоюродных братьев или когда учил имена всего, что плавало, росло, ползало и летало, — такие же сложные и точные, как Линнеева латынь.

Но однажды вкус груди стал ужасен, ибо мать намазала ее прогорклой ворванью. Она велела ему играть с мальчиками своего возраста и сказала, что теперь он может жевать тюленьё мясо. Затем его образованием занялся отец и научил душить бакланов, закалывать крабов и бить тюленей гарпуном. Мальчик узнал о Ватауинейве, Старике в Небе, который никогда не меняется и не любит перемен; и о Йетайте, Силе Тьмы, волосатом чудовище, который накидывается на медлительных и ленивых, и сбросить его с себя можно в танце. И он узнал те истории, что блуждают в воображении людей всего мира: о влюбчивом тюлене, о творении огня, о Великане с ахиллесовой пятой, о напевающей птице, что освободила сдерживаемые воды.

Мальчик вырос бесстрашным и верным обычаям своего племени. Сезоны сменяли друг друга: время-яиц, время-когда-птенцы-чаек-взлетают, время-покраснения-листьев-бука, время-когда-прячется-Солнечный-Человек. Голубые морские анемоны свидетельствовали о приходе весны, и би-

сы возвещали равенство с его штормами. Люди рождались. Люди умирали. Других перемен этот народ не ощущал.

Утро 11 мая 1830 года было ясным и прозрачным (для огнеземельцев в этот день соединялась пора обнажившихся ветвей со временем возвращения каланов). Ниже линии снегов горы были голубыми, а леса багряными и красно-коричневыми. Черные возвышенности возле берега переходили в белые полосы. Мальчик удил рыбу со своим дядей, когда они увидели Явление.

Много лет среди людей Крайнего Юга ходили слухи о появлениях чудовища. Сначала считали, что оно похоже на кита, но при более близком знакомстве выяснилось, что это гигантское каноэ с крыльями, полное розовых существ с волосами на лицах. Наполовину, по крайней мере, эти существа оказались людьми, поскольку знали кое-что о правилах обмена. Знакомые, жившие севернее по побережью, за одну собаку выменяли у них очень полезный нож, сделанный из твердого, холодного, поблескивающего камня.

Не боясь опасности, мальчик убедил дядю подгрести поближе к каноэ розовых людей. Высокий человек в костюме кивнул ему, и он вспрыгнул на борт. Розовый человек передал дяде маленький диск, мерцающий, как луна, и каноэ, раскрыв белое крыло, полетело по проливу к тому месту, откуда мы получаем перламутр для пуговиц.

Похитителем был капитан Роберт Фицрой, старший офицер на корабле флота Его Величества «Бигл», ныне совершавшем свой первый обход южных морей. За лежами окаменелых устриц вдоль всего патагонского побережья подтверждалась его вера во Всемирный потоп и в то, что люди — дети Адама и все в равной степени способны к развитию. Поэтому Фицрой был рад, что к его коллекции, включавшей трех туземцев, добавился этот экземпляр с блестящими глазами. Команда дала ему прозвище Джемми Баттон¹.

¹ **Баттон** (англ. button) — пуговица.

Следующий этап карьеры мальчика четко задокументирован. Вместе с двумя другими огнеземельцами (четвертый умер от оспы в Плимуте) он приехал в Лондон, посмотрел каменного льва на ступенях Дома Нортумберлендов¹ и оказался в школе-интернате в Волтамстоу, где выучился английскому языку, садоводству, плотничеству и прописным истинам христианства. Кроме того, он выучился прихорашиваться перед зеркалом и беспокоиться о перчатках. Перед отъездом он получил аудиенцию у Вильгельма IV и королевы Аделаиды, а его собрат, Йорк Минстер², если верить Марку Твену, явился в бальную залу Сент-Джеймса, одетый так, как полагается у него на родине, — и через две минуты в зале никого не осталось.

Мы знали бы гораздо меньше об обратном пути нашего огнеземельца, если бы не один натуралист, плывший на шхуне «Бигл» во время ее второго морского путешествия, — приятный курносый молодой человек с непревзойденной способностью к наблюдениям и с «Основами геологии» Лайеля в багаже. Джемми Баттон понравился Дарвину, но дикие огнеземельцы показались ему страшными. Он прочитал (но плохо усвоил) заметки капеллана с судна Дрейка, который описывал их как «радушных и безобидных людей», делавших каноэ таких изысканных пропорций, что «смотреть на них и пользоваться ими было бы наслаждением и для принцев». Вместо этого он допустил обычную для натуралистов ошибку: восхищаться совершенством всех созданий и с отвращением отшатываться от убогости человека. Дарвин считал огнеземельцев «самыми низкими и несчастными существами», каких он когда-либо видел. Они напоминали дьяволов, «как в «Вольном стрелке», они дивились его белой коже, будто орангутанги в зоопарке. У него вызывали презрительную усмешку их каноэ, их язык («едва ли достойный названия членораздельного»), и, по его признанию, ему было труд-

¹ **Дом Нортумберлендов** — лондонская резиденция графов и герцогов Нортумберлендских в XVII–XIX веках; ворота украшены знаменитой скульптурой льва.

² **Йорк Минстер** (англ. York Minster) — Йоркский собор.

но заставить себя поверить, что это «наши собратья, обитатели одного с нами мира».

Когда «Бигл» уже шел вдоль побережья к его дому, Джемми Баттон встал в полный рост на палубе и указал на врагов своего племени, группами высыпавших на берег. «Япу! — орал он. — Обезьяны, грязнули, дураки, недолюди!» — возможно, помогая Дарвину сформулировать его главнейшую идею. Один взгляд на огнеземельцев мог привести к выводу, что человек произошел от обезьяноподобных существ и что одни люди ушли от них дальше, чем другие. Джемми Баттон, к вечеру того же дня вновь ставший дикарем, подтвердил эту догадку.

Фицрой и Дарвин вернулись в Англию в октябре 1836 года и начали редактировать свои дневники для публикации (пять лет, проведенные за общим столом в каюткомпании, пригвоздили их к диаметрально противоположным позициям). Фицрой не меньше Дарвина был приведен в замешательство этими дикарями «цвета девонширских коров», болтающимися вокруг мыса Горн на своих каноэ, сшитых из древесной коры. Если они тоже произошли от Ноя, то как и почему они оказались так далеко от горы Арарат? И в качестве дополнения к своим «Хроникам» он опубликовал теорию миграции, опередившую Фрейда в изложении мифических событий в Первоначальной Орде.

Где-то в Малой Азии, в шатрах, сыновья Сима и Иафета возлюбили черных рабынь из проклятого рода Хама и Куша и положили начало роду красных мулатов, заселивших потом Азию и обе Америки. Естественно, отцы предпочли законное потомство полукровкам, и последние, тяжело переживая свое рабское положение, покинули отцов. Стремление к свободе гнало их во все концы земли, «и они, очевидно, по сей день сохраняют эту страсть к скитальчеству, что можно наблюдать у арабов, мигрирующих малайцев, кочевых татар и южноамериканских индейцев, неспособных жить на одном месте».

Фицрой считал, что эмигранты вышли со своей родины одетыми и грамотными людьми, но климат чужих зе-

мель сделал их грубее и уничтожил их скот. Они разучились писать, а сносив одежду, надели шкуры, сохранили на этом краю света каноэ и некоторые виды оружия, но одичали до того, что превратились в «пародию на человечество»: невытые, нечесанные, с «зубами, сверху плоскими, как у лошадей».

Среди книг, которые Фицрой держал в своей каюте на «Бигле», было «Путешествие к Южному полюсу на бриге «Джейн» и катере «Бафой» капитана Джеймса Уэдделла. Летом 1822-1823 года оба судна отплыли к югу от мыса Горн за морскими котиками. Они прошли мимо полей пакового льда (одна льдина была с черной землей) и 8 февраля, оказавшись на широте 7415' — так далеко на юг, как никто никогда не плывал, — увидели китов, птиц, похожих на голубых буревестников, и на много лиг во все стороны открытое море: «не было видно ни одной льдины, никакого льда вообще».

Уэдделл написал на своей морской карте: «Море Георга IV. Судоходно», решив, что по мере приближения к полюсу там становится теплее. Затем он отплыл на север в поисках несуществующих Авроровых островов. Во время стоянки на Южно-Шетландских островах один из его матросов увидел «неописуемого зверя» с красным лицом, похожим на человеческое, и зелеными волосами, которые свисали ниже плеч. Затем на острове Гермит у мыса Горн он наткнулся на каноэ с огнеземельцами, которые грозились потопить корабль. Он прочел им главу из Библии, и они выслушали его с торжественным видом. Один из них прижал ухо к книге, считая, что она умеет говорить. Уэдделл записал несколько слов из их словаря:

Sayam значит вода

Abaish — женщина

Shevoo — одобрение

Nosh — неудовольствие

и заключил, что это иврит, хотя вопрос, как иврит дошел до Огненной Земли, «еще должны будут решать филологи». В последнем абзаце он препоручил дикарей филантропиче-

скому духу своих соотечественников и, возможно, пробудил его и в Фицрое.

Как раз в тот момент, когда Дарвин и Фицрой корпели над своими хрониками, книга капитана Уэдделла появилась в Ричмонде, штат Виргиния, на столе издателя «Южного литературного вестника» Эдгара Аллана По, сочинявшего другую хронику. По, как и его идол Колридж, тоже был ночным странником, который бредил Крайним Югом и путешествиями между смертью и возрождением, — этой страстью он заразил Бодлера. Незадолго до этого По познакомился с теорией Дж.-К.Симмса, бывшего кавалериста из Сент-Луиса, который в 1818 году утверждал, что оба полюса являются вогнутыми и умеренными по климату.

В его «Сообщении Артура Гордона Пима» героя после кораблекрушения спасает капитан Ги с английского зверобойного судна «Джейн Ги» (капитан Ги действительно фигурирует в книге Уэдделла). Они продолжают путешествие на юг в поисках Авроровых островов, проходят такие же ледяные поля, замечают «ни на что не похожее животное» с шелковистыми белыми волосами и красными зубами и высаживаются на теплом острове, именуемом Тцалал, на котором все черного цвета. Тцалалианцы тоже были агатово-черными, и поскольку По был добрым виргинским негроненавистником, эти самые тцалалианцы предстали у него воплощениями скотства и низкого коварства. Их главы назывались Ямпус (в честь Йеху Лемюэля Гулливера и сходно с «япу» Джемми Баттона), а имя их главного вождя Ту-Вит.

Ту-Вит притворяется дружелюбным, но втайне замышляет убийство. Тцалалианские каноэ окружают «Джейн Ги», дикари грабят судно и разрывают матросов на части. Только Пим и его товарищ убегают с острова, но их каноэ несет к югу, к жерлу страшного водоворота. И когда они низвергаются в водопад, они видят — как Улисс, глядящий на Гору Чистилища, — колоссальную фигуру, завернутую в саван. «И оттенок ее кожи был совершенной снежной бе-

лизны». Эта фигура всплывет потом в стихотворении Рембо «Прекрасное существо».

Тцалалианцы — это сплав тасманских чернокожих (из записок капитана Кука) и южных негров (из его собственного детства), но здесь не обошлось и без огнеземельцев капитана Уэдделла. Тцалалианцы — потомки Хама, смуглого сына Ноя, и их язык — иврит («тцалал» — «быть темным», «ту-вит» — «быть грязным»). Ни По, ни Дарвин не читали друг друга, и то, что оба использовали одни и те же ингредиенты одинаковым образом, является еще одним примером синхронной работы нашего интеллекта.

Последующая карьера Джемми Баттона не способствовала восстановлению репутации его народа. В 1855 году шхуна Патагонского миссионерского общества «Аллен Гардинер» бросила якорь в проливе Муррей и подняла британский флаг. Ее капитан, Паркер Сноу, вдруг закричал «Джемми Баттон!» — и в ответ над водой зазвучало: «Да! Да! Джеймс Баттон! Джеймс Баттон!» Крепкий человек подплыл к кораблю на своем каноэ, попросил дать ему одеться и, «напоминая вырядившегося по торжественному случаю павиана», присоединился к чаепитию в капитанской каюте, будто и не прошло этих двадцати лет.

Миновало еще четыре года, и Джемми устроил бойню, чей сценарий мог бы сочинить Эдгар Аллан По. 6 ноября 1869 года во время утренней службы в первую англиканскую церковь в Улайе ворвалась толпа индейцев и насмерть забила восьмерых молившихся белых дубинками и камнями. Встречи с ними избежал только Альфред Коул, кок, готовивший в это время на шхуне ланч. На официальном расследовании он поклялся, что Джемми замыслил убийство, разозлившись, что ему прислали из Англии такие никчемные подарки. Еще Коул рассказал, что после убийства Джемми спал в каюте капитана.

Джемми дожил до 1870-х годов и видел основание настоящей миссии в Ушуайя и первые смерти от эпидемий, постигших его соплеменников. Приблизительно в то же время, когда маршал фон Мольтке начал развивать прус-

ский милитаризм на основе принципов дарвинизма, человек, который помог эти принципы сформулировать, лежал на груди тюленьих шкур, стараясь заснуть. Его женщины плакали и готовились забыть его. Мы не знаем, что он вспоминал, уходя из этого мира, — медно-красную грудь? Живот человека, называемого Величеством? Или льва-людоеда на ступенях Дома Нортумберлендов?

Я покинул Ушуайя, точно ненужную гробницу, и переправился в Пуэрто-Уильямс, на чилийскую военноморскую базу на острове Наварино.

62

— Спросите дедушку Фелипе, — сказал лейтенант. — Он один здесь чистокровный остался.

Последний из яганов жил в дощатой хибаре, стоявшей в ряду таких же хибар на дальнем краю базы. Их здесь поставило начальство — чтобы яганы были поближе к врачам. Моросило. Грязные пятна снега спускались до самого берега. Была середина лета. Там, где кончалась застройка, деревья тонули в облаках. Вода была гладкой и черной, а за проливом виднелись ребристые серые утесы острова Гейбл.

Старик сказал, что я могу войти. Хижина была полна дыма, и у меня сразу заболели глаза. Он сидел на куче рыбных садков, банок из-под крабов, корзин и лодочных принадлежностей. Его ширина почти равнялась росту, ноги были кривыми. Под замасленной кепкой виднелось задубевшее монгольское лицо и черные неподвижные глаза без следа какого-либо чувства или выражения.

Двигались только его руки. Это были прекрасные руки, проворные и покрытые сетью темно-серых вен. Он зарабатывал немного денег изготовлением каноэ на продажу туристам. Он делал их из коры и ивовых прутьев, а шивал овечьими жилами. В старое время отцы делали такие каноэ для своих сыновей. Теперь сыновей уже не было, а туристов пока было мало. Я смотрел, как он строгают миниатюрное древко гарпуна и привязывает к нему маленький костяной наконечник.

— Когда-то я делал большие гарпуны, — нарушил он молчание, — я делал их из китовой кости. На всем берегу были китовые кости. Но теперь их нет. Я делал гарпуны из кости, что внутри головы.

— Из челюсти?

— Не из челюсти. Там, внутри головы. На черепе у кита есть *canalita*¹ и вдоль нее две кости. Самые крепкие гарпуны — оттуда. Гарпуны из челюсти были не такие крепкие.

— Ты англичанин. — Он в первый раз посмотрел на меня и, кажется, попытался улыбнуться.

— Откуда вы знаете?

— Я знаю своих. Когда-то я знал много англичан. Было тут два английских матроса, Чарли и Джеки. Они были высокие, светловолосые, были моими друзьями. Мы говорили по-английски в школе. Мы забыли наш язык. Мистер Лоуренс знал наш язык лучше, чем мы. Он учил нас говорить на нашем языке.

Дедушка Фелипе был рожден в англиканской миссии и, быть может, был знаком и с Джемми Баттоном. Мальчиком он видел, как умирали его соплеменники. Он видел, как умерли все его дети, кроме одной дочери, и его жена.

— Почему она умерла? Она умерла во сне, со сложенными руками. И я не знаю почему.

Он болен, сказал он. Болен всю жизнь. Тело без всякой крепости. Работать он никогда не мог.

— Это все эпидемия. Приходили эпидемии, и мы видели, как умирают наши люди. Мистер Лоуренс писал слова на камне, когда они умирали. Мы ничего не знали об эпидемии. Откуда нам было знать? У нас всегда было хорошее здоровье. У нас никогда прежде не было эпидемий.

На обратном пути в Ушуайя на борт поднялся крупный человек с красным прыщавым лицом, загнутыми вверх усами и медовыми глазами оттоманского паши. На нем была каракулевая шапка. Он приехал из Сантьяго насчет постройки завода по обработке криля. Киты ушли, но криля все еще много. Я заговорил с ним о дедушке Фелипе и упомянул Чарли и Джеки.

— Он, наверное, съел их, — сказал толстяк.

¹ *Canalita* — каналчик (исп.).

63

Из Ушуайя можно было совершить тридцатипятимильную прогулку вдоль пролива Бигл к эстансии Бриджеса в Харбертоне.

Первые две мили лес спускался прямо к берегу, и внизу сквозь ветви можно было увидеть зеленую воду и багряные ленты водорослей, поднимавшиеся и покачивавшиеся вместе с приливом. Дальше холмы отступали, и начинались пастбища колючей травы, усеянные грибами и маргаритками.

Вдоль линии прилива берег был покрыт коростой сплавленного леса, выбеленного морем, а иногда попадался мачтовый ствол или китовый позвоночник. Скалы были мучнисто-белыми от гуано. На них сидели бакланы и патагонские казарки, сверкавшие черным и белым на взлете. Недалеко от берега над морем летали поганки и утки-пароходы, а дальше в проливе кружили без всякого видимого усилия черные альбатросы, подобные парящим клинкам.

Было уже темно, когда я добрал до аргентинского военно-морского поста в Алмансе. Там сидели двое матросов, застрявшие, как корабль на мели. Они целыми днями рассматривали в бинокль чилийцев на том берегу, но радио у них было разбито, и рапортовать о своих наблюдениях они не могли. Один был из Буэнос-Айреса, он рассказывал похабные анекдоты. Другой, индеец из племени чако, ничего не говорил, а сидел сгорбившись, уставившись на тлеющие угли костра.

Если подходить к Харбертону со стороны побережья, его можно принять за огромное поместье в горной Шотландии, с оградами для овец, крепкими воротами и коричневыми торфяными ручьями с форелью. Угодья преподобного Томаса Бриджеса тянулись вдоль западного побережья Харбертонского залива, закрытые за низким холмом

от штормов. Его друзья из племени яганов сами выбрали это место, а назвал он его в честь девонширской деревни, где родилась его жена.

Дом, завезенный много лет назад из Англии, был сделан из рифленого железа, выкрашен в белый цвет, у него были зеленые окна и неяркая красная крыша. Он сохранил обстановку из крепкой мебели красного дерева, водопровод и прямую осанку викторианского пасторского домика.

Кларита Гудалл, внучка миссионера, была в доме одна. Девочкой она сидела на коленях у Чарли Милворда и слушала его морские рассказы. Она подарила мне книгу Томаса Бриджеса «Яганский дневник», и я уселся с ним на веранде. Цветы английского сада, казалось, пылали от внутреннего жара. Дорожка шла через калитку, перекрытую китовой челюстью. Дровяной дым стелился над черной водой, и на дальнем берегу кричали гуси.

Томас Бриджес был невысоким прямодушным человеком, верил в Божий Промысел и не боялся рискнуть. Он был сиротой, и его усыновил Джордж Пекман Деспард, ноттингемский священник и секретарь Патагонского миссионерского общества, взявший его с собой на Фолкленды. Он жил там, когда Джемми Баттон убивал миссионеров. Позже он продолжил их работу и, за исключением случайных визитов в Англию, все время жил на Тьерра-дель-Фуэго. Но в 1886 году, когда все индейцы умерли, он осознал, что дни миссии сочтены, и, будучи обременен семьей из семи человек, не имея никаких перспектив в Англии, он попросил президента Року¹ выдать ему право собственности на землю в Харбертоне. Этот поступок опозорил его в глазах всех непримиримых праведников.

Молодой Томас Бриджес обладал достаточным терпением и вниманием, чтобы при помощи индейца по имени Джордж Окко овладеть языком, над которым так издевался Дарвин. К своему удивлению, он обнаружил в нем невероятную сложность конструкций и богатство словаря, которое никто не мог заподозрить у такого «примитивного» народа. В восемнадцать лет он решил создать словарь, который бы помог ему «рассказать им к моей радости и для их убеждения о любви к Иисусу». Он едва успел завершить это гигантское предприятие к моменту своей смерти в 1898 году. Он записал 32000 слов, даже близко не подойдя к тому, чтобы исчерпать выразительные возможности языка яганов.

«Словарь» пережил индейцев и стал им памятником. Я сам видел рукопись Бриджеса в Британском музее,

¹ **Генерал Хулио Архентино Рока** — президент Аргентины (1880–1886), известен своими победами над индейцами Пампы.

и мне нравится вообразить себе священника с покрасневшими от бессонницы глазами, поздно ночью под завывания ветра заполняющего неразборчивым почерком тетрадь с форзацами цвета голубого мрамора. Мы знаем, что в этом лабиринте конкретных подробностей он отчаялся отыскать слова, способные выразить сверхчувственные понятия Писания. Мы также знаем, что он был нетерпим к индейским суевериям и никогда не пытался понять их: убийство его соратников было слишком свежо в его памяти. Индейцы чувствовали эту нетерпимость и о самых сокровенных верованиях молчали.

Дилемма Бриджеса была довольно обычной. Обнаруживая в «примитивных» языках нехватку слов для выражения моральных идей, многие предполагают, что этих идей там не существует. Но понятия «благого» и «прекрасного», столь важные для западной мысли, не имеют смысла, если они не привязаны к вещам. Самые первые носители языка брали сырой материал из окружавшего их мира и сжимали его в метафору, чтобы с ее помощью намекнуть на абстрактную идею. Язык яганов — и, надо думать, все остальные языки — действует подобно системе навигации. Названные вещи — это фиксированные точки, между которыми есть связь, концы отрезка, позволяющие говорящему прокладывать курс дальше. Если бы Бриджес почувствовал, сколь широко ветвится метафора языка яганов, его работа не кончилась бы никогда. Но все же до нас дошло достаточно, чтобы мы могли представить себе, насколько ясен был их разум.

Что бы мы подумали о людях, которые определяли «монотонность» как «отсутствие друзей»? Или использовавших для понятия «депрессия» слово, которое описывает особенно уязвимую фазу в годовом жизненном цикле краба, когда он сбрасывает старый панцирь и ждет, когда отрастет новый? Или производивших понятие «ленивый» от «чернохвостого пингвина»? А «неверного супруга» от зябленника, маленького сокола, перелетающего с места на место и вдруг зависающего недвижно над следующей жертвой?

Вот всего несколько синонимов:

Снег — рыбы чешуйки.

Косяк шпрот — скользкая слизь.

Груда деревьев, упавших и мешающих проходу, — икота.

Топливо — что-то сгоревшее — рак.

Пустые двустворчатые ракушки — заскорузлая кожа — старость.

Некоторые связи остались выше моего понимания:

Морской котик — родственники убитого.

Некоторые вначале казались неясными, а потом прояснились:

Таяние снегов — шрам — учеба.

Здесь процесс размышления такой: снег покрывает землю, как стружья покрывают рану. Он тает лоскутами и оставляет гладкую, выровненную поверхность (шрам). Таяние снегов возвещает о наступлении весны. Весной люди начинают передвигаться, и начинаются уроки.

Другой пример:

Болото — смертельная рана (или смертельно раненый).

Болота Огненной Земли представляют собой комковатые тюфяки мха, сочащиеся водой. Их цвет — тускло-желтый с красноватыми пятнами, как цвет открытой раны, из которой сочатся гной и кровь. Болота покрывают равнины, а равнины лежат плоско, как раненый человек.

Глаголы играют главную роль в этом языке. У яганов каждый раз находилась какой-нибудь очень драматичный глагол, чтобы схватывать любое движение мускулов, любое возможное действие природы или человека. Глагол *ya* означает «направить свое каноэ к ленте водорослей», *okop* — «спать в плывущем каноэ» (ничего общего со «спать» дома, на берегу или с женой), *okomona* — «швырнуть свое копье в косяк рыбы, не целясь ни в какую в особенности», *wejna* — «быть расслабленным или легко передвигаемым, как разломанная кость или лезвие ножа» — «скитаться или бродить, как бездомный ребенок» — «быть привязанным и, однако,

свободным, как глаз или кость в своем гнезде» — «качаться, двигаться или путешествовать» — или просто «существовать или быть».

У других частей речи, по сравнению с глаголами, подрезаны крылья. Существительные у них всегда подвешены на своих глагольных корнях. Слово, означающее «скелет», происходит от «хорошо обглодать». *Aiari* означает «принести особого рода копые и положить его в каноэ, подготовленное к охоте»; *aiarix* — это животное, на которое охотятся, а также «калан, морская выдра». Яганы были прирожденными странниками, хотя редко уходили далеко. Отец Мартин Гузинд, этнограф, писал: «Они напоминают суетливых перелетных птиц, которые чувствуют себя счастливыми и внутренне спокойными, только когда они в движении», и их язык открывает одержимость временем и пространством, присущую мореходам. Ведь хотя они не умели считать и до пяти, они определяли стороны света с поразительной точностью и прочитывали сезонные изменения с аккуратностью хронометра. Четыре примера:

Iian — сезон молодых крабов (когда родители возят детенышей на себе).

Siiia — сезон, когда отпускают молодняк (от глагола «прекратить кусать»).

Nakueum — сезон, когда облезает кора и соки растений поднимаются.

Sekana — время постройки каноэ и время криков бекаса (слово *sek-sek* подражает крику бекаса и шуму, с которым строитель каноэ обрывает полосы коры со ствола буков).

Томас Бриджес придумал слово «яганы» от топонима Яга, сами индейцы называли себя «ямана». «Ямана», используемое как глагол, означает «жить, быть счастливым, выздороветь после болезни или быть в своем уме». В качестве существительного оно означает «люди» в отличие от животных. Рука, к которой приделали суффикс «-ямана», становится человеческой рукой, протянутой в знак дружбы, в отличие от смертоносного когтя.

Наслоения метафорических ассоциаций, из которых складывалась почва их разума, привязывали индейцев к родной земле неразрывными узлами. Территория племени, сколь бы неудобна она ни была, — всегда рай, который невозможно улучшить. Внешний же мир является адом, а его обитатели хуже зверей.

Возможно, тогда в ноябре Джемми Баттон принял миссионеров за посланников Силы Тьмы. Возможно, когда позже он стал выказывать признаки раскаяния, он вспомнил, что розовые мужчины тоже были людьми.

В своей автобиографии «Самая дальняя часть света» Лукас Бриджес рассказывает, что рукопись его отца украл Фредерик А. Кук, бойкий американский доктор, участник бельгийской антарктической экспедиции 1898–1899 годов, который попытался выдать ее за собственное сочинение. Кук был путешественником-мифоманом из земли Рипа ван Винкля¹, который начал с путешествий по своей округе, а потом заявил, что он первым взшел на гору МакКинли и опередил Роберта Пири на Северном полюсе. Он умер в Нью-Рошели в 1940 году, успев отсидеть за продажу поддельных нефтяных акций.

Рукопись словаря была потеряна в Германии во время Второй мировой войны, но вновь обнаружена сэром Леонардом Вули, раскопавшим государство Ур, и передана его семьей в дар Британскому музею.

Лукас Бриджес был первым белым, который смог подружиться с индейцами она. Только ему они доверяли, когда люди, подобные Красной Свинье, убивали их сородичей. «Самая дальняя часть света» была одной из моих любимых книг в детстве. В ней он пишет о священном озере Ками, вид на которое открывается с горы Спион-Коп, и о том, как индейцы помогали ему протоптать на лошади тропу, соединяющую Харбертон с другой фермой его семьи в Виамонте.

Мне всегда хотелось пройти по ней.

¹ Рип ван Винкль — герой одноименного рассказа И. Вашингтона, жил на западном берегу Гудзона.

66

А Кларите Гудалл не хотелось, чтобы я шел по этой тропинке. До озера Ками было миль двадцать пять, но реки поднялись от внезапного наводнения, и мосты обрушились.

— Вы можете ноги переломать — сказала она, — или потеряться, и нам придется высылать поисковый отряд. Раньше тропу можно было проехать за день, но теперь лошадей там не пройдет.

Это все бобры. Губернатор острова завез их сюда из Канады, и теперь они перегородили своими плотинами все речные долины, ходить по которым когда-то было легко и приятно. Но мне все равно хотелось.

И рано утром она разбудила меня. Я слышал, как она готовит на кухне чай. Она отрезала мне хлеба, положила джема из черной смородины, налила в термос кофе, взяла палки, смоченные керосином, и запаковала в водонепроницаемый мешок: если я упаду в реку, мне по крайней мере будет чем разжечь костер. Она сказала: «Пожалуйста, будьте осторожны!» — и долго стояла в длинном розовом халате на пороге, тихо и грустно улыбаясь, и медленно махала рукой в бледном свете раннего утра.

Тонкая пелена тумана повисла над заливом. Семейство красногрудых гусей колыхалось на воде, а у лужи возле первых ворот расположилось еще несколько их сородичей. Я пошел по дороге, ведущей в горы. Впереди чернели леса Харбертонской горы, и неяркое солнце поднималось над ее склоном. Этот берег был холмистым, порос травой, лес выгорел, и всюду торчали одинокие обугленные деревья.

Дорога то падала вниз, то поднималась. Бревенчатые настилы перекрывали рытвины и ямы. За последним забором виднелся черный омут, окаймленный мертвыми

деревьями, и оттуда дорога вилась вверх по холму, проходя первый на моем пути участок леса.

Еще не видя реки, я услышал ее: она ревела на самом дне ущелья. Тропа проскользнула вниз под утес. На поляне стояли старые овечьи загоны Лукаса Бриджеса, теперь заброшенные и гниющие. Моста не было, но в сотне ярдов вверх по течению река мелела, широко разливаясь по скользким коричневым камням. Я срезал и зачистил два молодых деревца, снял ботинки и брюки и спустился в воду с шестью в обеих руках: левым я мерил дно, а на правый опирался. В самом глубоком месте поток кружил уже возле моих ягодич. Обсыхал я, сидя на солнце на дальнем берегу реки. Ноги покраснели от холода. Вверх по реке пролетела андская утка. Я узнал ее полосатую головку и узкие свистящие крылья.

Вскоре дорога затерялась в лесу. Я сверился с компасом и отправился на север к следующей реке. Впрочем, теперь это была уже не река, а болото желтого торфяного мха. Молодые деревца по краю болота были исполосованы резкими косыми порезами, точно ударами мачете. Вот и страна бобров. Вот во что бобры превратили реку.

Я шел еще три часа и добрался до склона горы Спирит-Коп. Впереди лежала долина реки Вальдес — полуцилиндр, простиравшийся на двенадцать миль к северу до тонкой голубой полоски озера Ками.

Какая-то тень на миг закрыла солнце, свист рассекаемого воздуха, звук ветра, струящегося сквозь маховые перья, — два кондора спикировали на меня, и я увидел их красные зрачки и мелькнувшие серые спины, когда они на бреющем полете мчались мимо. Они спланировали по дуге к началу долины и вновь стали подниматься кругами вверх, там, где ветер бился в утесы, пока не превратились в две точки в молочном небе.

Точки стали расти. Они возвращались. Они летели назад, ныряя головой прямо в ветер, неотвратимые, как военные самолеты, идущие на цель, с кольцами белых перьев на черных шеях, с неподвижными крыльями, с хвостами,

выпущенными вниз, с расставленными когтями. Они пикировали на меня четыре раза, а потом нам всем это наскучило.

Днем я все-таки упал в реку. Переходя бобровую плотину, я наступил на бревно, которое выглядело вполне надежным, а оказалось плавучим. Оно сбросило меня головой вниз в черную грязь, и я с трудом оттуда вылез. Теперь нужно было засветло добраться до трассы.

Вновь появилась дорога — прямой коридор в темном лесу. Я шел следом за гуанако. Иногда я видел далеко впереди, как он приседает перед упавшими бревнами, а потом я подошел ближе. Это был самец-одиночка, шуба вся в грязи, лоб в глубоких шрамах. Он дрался и проиграл. Теперь он тоже стал странником, обреченным на бесплодие.

Деревья поредели, и река начала неторопливо кружить по коровьим пастбищам. Раз двадцать я пересек ее по следам коров. На одном переходе я увидел следы сапог, и меня охватило внезапное чувство легкости и счастья: я подумал, что сейчас выйду на дорогу или к хижине пеона, а потом следы потерялись, и река ушла вниз, точно в шлюз, по сланцевым стенкам ущелья. Я двинулся через лес, но свет угасал, и было небезопасно карабкаться через мертвые деревья в темноте.

Я расстелил свой спальный мешок на ровном месте, развернул свои палки с керосином и половину сложил в кучу вместе с мхом и прутьями. Костер разгорелся. Занялись даже сырые ветви, и пламя осветило зеленые шторы лишайника, свисающие с деревьев. В спальном мешке было сыро и тепло. Луна скрылась за тучами.

А затем я услышал шум мотора и сел. За деревьями был виден свет фар. До дороги оставалось десять минут, но я слишком хотел спать — и заснул. Я спал даже в ливень.

На следующее утро, умывшись и позавтракав, я сидел в гостиной в Виамонте, почти не в силах пошевелиться. Два дня я с книгой пролежал на диване. Семья уехала с палатками в поход — все, кроме Дядюшки Битла. Мы беседо-

вали о летающих тарелках. На следующий день он увидел в столовой духа, парящего над портретом.

Из Виамонте я переправился через чилийскую половину острова в Порвенир и отплыл на пароме в Пунта-Аренас.

На Пласа-де-Армас шла торжественная церемония. Сто лет прошло с тех пор, как Хосе Менендес впервые ступил на землю Пунта-Аренас. Его богатые потомки съехались на юг, чтобы открыть ему памятник. На женщинах были черные платья, жемчужные ожерелья, меха и лакированные туфли. Мужчины держались натянуто, как все, кто вынужден оборонять слишком большую территорию. Их чилийские земли во время земельной реформы пропали; и хотя они все еще удерживали за собой аргентинские латифундии, добрые старые времена английских управляющих и послушных пеонов миновали.

Бронзовая лысая голова дона Хосе напоминала бомбу. Этот бюст когда-то украшал семейную эстансию в Сан-Грегорио, но при режиме Альенде пеоны задвинули его в сарай. Его нынешнее повторное освящение на площади символизировало возврат свободного предпринимательства, но семье вряд ли что-нибудь вернут. Неискренние панегирики звучали как похоронный колокол.

Ветер вздыхал в муниципальных араукариях. Вдоль площади выстроились собор, гостиница и палаццо прежней плутократии — большинство превращены сегодня в офицерские клубы, — статуя Магеллана гарцевала над двумя поверженными индейцами, слепленными по образцу «Умирающего галла».

По такому случаю играл превосходный духовой оркестр. Он заглушал вздохи ветра маршами Соусы, а интенданте, краснолицый генерал воздушных сил, готовился сдернуть ткань. Испанский поверенный тарачил стеклянные глаза, выражавшие фанатичную убежденность, американский посол взирал на все благосклонно, а в колыхавшейся вокруг толпе, которая всегда стекается на звуки духового

оркестра, были видны только каменные лица. Пунта-Аренас был левацким городом — в нем жили люди, избравшие Сальвадора Альенде своим депутатом.

В квартале отсюда стоял дворец, который Мориц Браун по кусочкам вывез из Европы после женитьбы на дочери дона Хосе в 1902 году; его мансардная крыша виднелась над пеленой темных кипарисов. Каким-то образом он благополучно пережил волну конфискаций, и его обстановка, гигиеничные мраморные статуи и диваны с пуговицами сохраняли безмятежность домоседов эпохи короля Эдуарда.

Слуги убирали столовую к вечернему приему. Лучи полуденного солнца просачивались сквозь бархат гардин и отскакивали от камчатного полотна белых скатертей, роняя свет на обитые кордовской кожей¹ стены и на висящих там влюбленных гусей кисти Руиса Бласко, отца Пабло Пикассо.

После церемонии старшее поколение уселось отдыхать в зимнем саду, им прислуживала горничная в черно-белом, приносящая пшеничные лепешки и бледный чай. Разговор коснулся индейцев. Тот, кого в семье прозвали «англичанином», сказал: «Все эти разговоры об убийстве индейцев несколько преувеличены. Видите ли, эти индейцы сами были довольно низкого сорта. Я хочу сказать, это не были какие-нибудь ацтеки или инки. Никакой цивилизации, ничего. В целом это были просто нищие бедолаги...»

¹ **Кордовская кожа** — особым образом обработанная кожа лошади, имеющая характерный красно-коричневый цвет и ярко выраженный блеск.

68

Музей отцов-салезианцев в Пунта-Аренас был несколько больше, чем в Рио-Гранде. Главным экспонатом была стеклянная витрина, в которой демонстрировались фотография молодого итальянского священника, производившего впечатление человека явно нетерпимого, и шкура калана, а также отчет о том, как они друг с другом встретились:

9 сентября 1889 года трое аракалуфов с canales пришли к отцу Пистоне и предложили ему шкуру калана, которая теперь хранится в музее. Пока преподобный отец осматривал ее, один из них выхватил мачете и нанес ему смертельный удар в верхнюю челюсть. Двое других также набросились на него. Преподобный отец боролся с этими представителями Homo silvestris¹, но его рана была слишком серьезна. Пролежав в агонии несколько дней, он умер.

Его убийцы семь месяцев жили в миссии бок о бок с ним, он и другие отцы-салезианцы заботились о них и любили, как приемных детей. Но отсталость, честолюбие и зависть довели их до преступления. Совершив свое страшное дело, они бежали. Потом они вернулись и под благотворным воздействием нашей веры стали цивилизованными людьми и добрыми христианами.

Раскрашенные гипсовые изображения индейцев в натуральную величину стояли в витринах из красного дерева. Скульптор придавал им обезьяньи черты, контрастирующие с сахарной безмятежностью Мадонны из часовни миссии на острове Даусон. А самым печальным экспонатом были два упражнения из ученических тетрадок и фотографии двух смысленых мальчиков, их написавших:

¹ **Homo silvestris** — лесной человек (лат.).

*Спаситель был в этом мире, и я не знал этого
В поте лица твоего будешь есть хлеб*

Да, салезианцы поняли истинное значение стиха 19 гл. 3 Книги Бытия.

Золотой век закончился, когда люди перестали охотиться, осели в домах и стали тянуть свою лямку.

69

«Англичанин» взял меня на скачки. Был самый солнечный день лета. Над неподвижной гладкой синью пролива виднелась двойная белая корона горы Сармьенто. Трибуны, покрытые толстым слоем свежей белой краски, были заполнены генералами, адмиралами и молодыми офицерами.

«Англичанин» был в замшевых сапогах и твидовом кепи.

— Как насчет провести день на скачках? Ничто не сравнится с хорошими скачками! Пойдете со мной? Давайте, пошли! Сядем в VIP-ложе.

— Я не так одет.

— Я знаю, что вы не так одеты. Не беспокойтесь. Тут широко смотрят на вещи. Пойдемте. Хочу представить вас интенданте.

Но интенданте не обратил на меня никакого внимания. Он был занят разговором с владельцем «Шотландской летуньи» и «Шотландской принцессы». Так что мы заговорили с военным капитаном, который смотрел на море.

— Никогда не слышали об испанской королеве? — спросил «англичанин», пытаясь оживить разговор. — Никогда не слышали эту шутку об испанской королеве? Подождите, постараюсь припомнить:

*Радости — одно мигновенье,
Девять месяцев — докуки,
На три месяца покоя,
А потом опять за то же.*

— Вы говорите об испанской королевской фамилии? — насупился капитан.

«Англичанин» сказал, что читал об этом в Оксфорде.

70

Пожилая дама разливала чай из серебряного чайничка, глядя, как шторм скрывает из виду остров Даусон. Три золотые цепочки обрамляли ее шею; когда-то она нанимала своих пеонов добывать это золото в ручьях на ее земле. Скоро шторм разразится и на этой стороне пролива.

— О, все было сделано превосходно, — говорила она. — До нас, конечно, доходили слухи, но у нас тут ничего не было. Потом мы увидели над городом самолеты. Утром немного постреляли, а к полудню всех марксистов зажали в угол. Все было сделано просто превосходно¹.

Ее ферма была одним из лучших хозяйств по обе стороны Магелланова пролива. У ее отца было еще и поместье на севере Шотландии. Там они оставались до самого конца сезона охоты на куропаток, а в конце октября отплывали обратно.

В 1973 году правительство дало ей два месяца, чтобы выехать из страны. Два месяца на собственность, которой семья владела семьдесят лет. Письмо пришло 22-го числа. В нескольких грубоватых строках ей предписывалось очистить дом к 15-му. Она никогда не трудилась столько, сколько в те две недели. Она упаковала весь дом. Упаковала все. Она вывезла все. Даже выключатели. Даже мраморные бордюрики для ванн. Эти бордюрики она выписала из Шотландии. Но этим людям они не достанутся. От нее им ничего не достанется.

Они, конечно, не остались в долгу. Самый страшный удар она получила от человека, работавшего у нее тридцать лет. Всегда услужливый. О да, всегда очень почтительный. Она лечила его, когда он болел. Только когда по-

¹ Речь идет о победе хунты над правительством Альенде в 1973 году.

явились марксисты, в нем вдруг проснулась наглость. Он попытался помешать другим загружать скот — скот, который она уже продала, — чтобы им больше досталось. Затем он перекрыл доступ масла для отопления дома — масла, за которое она уже заплатила.

Это было ужасно. Они украли ее собаку и стали травливать на людей. Всю зиму они точили ножи, дожидаясь, просто дожидаясь приказа перерезать их в постелях. А что они сделали, когда наконец забрали имение себе? Они разрушили его, полностью разрушили! Испортили трубы. Запустили овец в огород! И в цветник! Им не нужны были овощи! Они даже не знали, что с ними делать.

Они жаловались, что у них нет молока. Говорили, мол, у них чахотка, потому что она не дает им молока. Она дала им молоко, которое они вылили в канавы. Они свежее молоко не пьют. Пьют только то, что в банках! А что они сделали, когда получили молочное стадо? Все стадо перерезали! Съели! Им недосуг доить коров. Они просто почти все время слишком пьяны, чтобы встать с постели.

А бык... О, бык! Не знаешь уж, смеяться или плакать над этим несчастным быком. Министерство купило быка-рекордсмена в Новой Зеландии. Без всякой необходимости. Множество таких же быков, ничуть не хуже, имелось рядом, в Аргентине. Но, конечно, «наши» не могли купить аргентинского быка: еще бы, тогда они потеряют лицо! Так что быка доставили самолетом из Новой Зеландии в Сантьяго, переправили в Пунта-Аренас, где и презентовали бог их знает со сколькими речами ее так называемой образцово-показательной ферме. И сколько, вы думаете, этот бык продержался? Прежде чем те его съели? Три дня! Уничтожать и уничтожать. Больше они ничего не хотели. А потом у них ничего не осталось.

Она перевезла мебель с фермы в город, в дом, которым владела больше пятидесяти лет. Самый красивый дом в Пунта-Аренас, и, конечно, они его тоже захотели. Господин Бронсович, глава партии, приходил три раза. Его ничто не могло остановить. В те дни не было никакого ува-

жения к частной собственности! Он сказал: партия хочет забрать ваш дом для штаба. А она сказала: «Только через мой труп!»

Во второй раз он явился с женой, та совала нос по всем шкафам и даже опробовала ее постель! В последний раз Бронсович стоял в ее гостиной со своими красными головорезами и говорил: «Тут все такое английское. И подумайте, вы живете тут совершенно одна. Вы не боитесь жить тут одна?»

Боюсь! Но этого она сообщать ему не собиралась. Она, конечно, боялась. Так что она продала дом одному чилийскому знакомому. За гроши, разумеется. Тогда песо вообще ничего не стоили. Но они бы его ни за что не получили. Не сейчас. По крайней мере не от нее. И знаете что сделала миссис Бронсович, когда услышала о продаже дома? Прислала записку: сколько она хочет за свой ситцевый гарнитур.

В то же утро Бронсович был арестован у себя в магазине. Его препроводили домой, обрили голову и отправили на остров Даусон. Потом какие-то его друзья пошли к интенданте, чтобы попытаться его вызволить.

— Вы меня удивляете, — сказал интенданте. — Вы знаете его почерк?

— Да, — сказали они, и тогда он показал им их собственные имена, внесенные Бронсовичем в список приговоренных к смерти. И они сказали:

— Пусть лучше остается там, где есть.

Разразился шторм. Водопады дождя обрушились на цветущий сад. Новый дом был маленьким, но теплым. Зеленые ковры и чиппендейловская мебель ему очень шли.

— Я никуда не уеду, — сказала она. — Мой дом здесь. Сначала им придется меня убить. Да и куда мне ехать?

По адресу Пунта-Аренас, улица Казилла, 182, стальная зеленая калитка с перечеркнутыми буквами Ms, оплетенными прерафаэлитскими лилиями, вела в тенистый сад, где все еще обитали растения времен моей бабушки: кроваво-красные розы и лавры, крапленные желтым. У дома была крыша с высокими щипцами и готические окна. На уличной стороне квадратная башня, а сзади — восьмигранная. Соседи говорили:

— Старик Милворд никак не решит, замок у него или церковь.

Или:

— Видно, думает отсюда быстрее угодить в рай.

Дом принадлежал теперь доктору, и его жена провела меня в переднюю, погруженную в настоящий англиканский сумрак. Из комнаты в башне я посмотрел на город: белые витые шпили церкви Святого Джеймса, металлические домики, выкрашенные в цвет славянского платка, банковские здания и склады около доков. Солнце прокралось с запада и охватило огнем алый нос парома с автомобилями. Дальше торчал черный горб острова Даусон и скалы, доходящие до мыса Фровард.

Мой двоюродный дедушка Чарли держал на башне телескоп и уже старым больным человеком наводил его на залив. Или сидел за письменным столом, стараясь расшевелить свою память и вновь пережить восторг выхода в море.

72

Ветреным осенним днем 1870 года пароходный катер отплыл от пристани у Рок-Ферри на реке Мерси и запыхтел по направлению к британскому «Конвею», старому, списанному кораблю, который встал на якорь в канале, превратившись в тренировочное судно торгового флота. На катере было двое пассажиров: мальчик двенадцати лет и добрый на вид священник, на лице которого миссионерская работа в Индии оставила немало морщин. Мальчик был «маленький, хорошо сложенный паренек, на лицо безобразный, но не отталкивающий». Его курносый нос мог служить примером буквального истолкования поговорки «Положить нос на точильный камень»¹.

Преподобный Генри Милворд решил, что никакие подзатыльники не смогут усмирить буйный нрав его сына, и теперь отправлял мальчика в море.

— Обещай мне одно, — сказал он, когда уже начали приближаться черно-белые орудийные порты, — обещай мне, что ты никогда не будешь воровать.

— Обещаю.

Он сдержал данное обещание, и отец не зря его взял: родной брат мальчика вырос на редкость вороватым.

Чарли вскарабкался вверх по снастям и махал на прощание отцу, но главный задира на корабле, парень по имени Дали, преградил ему путь с салинга вниз и потребовал перочинный нож и серебряный пенал. Чарли навсегда запомнил татуировку у него на руке.

Двумя годами позже, пройдя начальное обучение, он устроился в фирму Балфура в Вильямсоне и отправился

¹ «Положить нос на точильный камень» (англ. Put your nose to the grindstone) — перен. «Работать не покладая рук».

в море. Его первый корабль, «Рокеби Холл», возил уголь и железнодорожные рельсы на Западное побережье Америки, а обратно возвращался с чилийскими нитратами. Он оставил два описания этих еще ученических плаваний. Одно представляет собой вахтенный журнал, где записи короткие, скупы, как и подобает заметкам моряка, и нередко сделаны корявым почерком: «Взяли 640 мешков содового нитрата». «Остров Бардси на траверзе», «Матроса Рейнольдса ударило о штурвал. Теперь слег». Или (его единственный комментарий, когда они обогнули мыс Горн) «смена курса с зюйд-оста на норд-норд-вест».

Другое описание — неопубликованный сборник морских рассказов, который он составил в старости в Пунта-Аренас. Некоторые из рассказов слегка беспорядочны, и в них есть повторы. Возможно, Чарли был уже слишком болен, чтобы закончить их, или, возможно, кто-то лишил его необходимой уверенности. Мне лично они кажутся чудесными.

Он положил на бумагу все, что помнил о кораблях и людях на море и в порту; о путешествиях поездом; о мрачных портах Северной Англии — «Ливерпуль и Миддлсборо не из тех мест, что могут поднять вам дух»; о мокрых булыжниках, клопах в ночлежках, о команде, которая пьяной возвращается на борт. И потом — прочь оттуда, в тропики, верхом на бушприте, паруса ослабли и провисли, а белый гребень носовой волны режет темное море; или вверху, на качающемся ноке рея, зеленая вода разбивается над палубой, а ты собираешь парус, уже насквозь мокрый или затвердевший от холода; или, проснувшись ночью севернее Вальпараисо, корабль встал на дыбы, и твой друг говорит тебе: «Спи лучше, Уродик, дурила, — не почувствуешь, как потонем», а затем тридцать шесть часов у насоса и счастливые крики людей, когда насосы наконец вытягивают сухой воздух.

О еде он думал все время. Он записал «горошины, как мраморные шарики в цветной воде», «галеты из водорослей — сначала водоросли, потом червяки», солонину — «скорее красное дерево, чем мясо». Он записал названия

блюды, которые они делали сами из галет, гороха, черной патоки и солонины — «тоска денди», «галетный винегрет», «собачье тельце» и «хлёбово», — и о нарывах, появлявшихся, если этого всего переест. С благодарностью вспоминал он друзей, уступивших ему лишнюю порцию, — старого стюарда или одного немецкого кондитера в чилийском порту. Он вспоминал, как мальчишки совершили налет на шкафчик шкипера и вернулись обратно с наволочками, набитыми банками с лобстером, языком, лососем и джемом; как он не смог всего этого отведать из-за данного отцу обещания; как он плакал, когда шкипер обнаружил пропажу и лишил их рождественского пудинга; и как повар все равно тайно просунул им сливового пирога; и как, когда капитан застал их врасплох, он спрятал свой кусок под рубашку и взобрался на главную рею и у него на животе вздулся волдырь.

Он записал истории о варварском побережье Сан-Франциско; о владельцах меблированных комнат, прикармливавших голодных матросов и тащивших их на корабль, где недоставало экипажа. Худшим из таких был Сэмми Уинн. Он уговорил трех курсантов дезертировать с австрийского военного корабля, а когда награда за их поимку оказалась больше тех кровавых денег, что он заработал, Сэмми притащил их обратно на военный трибунал и смертный приговор.

А еще были доступные калифорнийские девушки; суровое правосудие судей; шайка с Билл-стрит, перекачавшая испанское вино из бочек к себе в лодку, пока Чарли со сторожем поедали тыквенный пирог на набережной; Король Громил, взявший их корабль на бордаж во фраке и при галстук; серебряные часы, которые Чарли получил от этого джентльмена, когда проводил его с корабля.

Он вспоминал А-Синга, китайца-прачку, который брызгал изо рта крахмалом; и китайскую команду, которая, облачившись в великолепные яркие шелка, жгла благовонные палочки и сгибалась в поклоне перед солнцем, пока над головами их свистели реющие снасти. Были там и чилий-

ские нитратные порты; и продавцы рiсco, и лачуги, сделанные из китовых ребер, и дерюжные сумки, и вереницы мулов, ползущих по утесам, и один мул, который поскользнулся и упал на шестьсот метров вниз на взморье.

Был матрос Ламберт, которого избили так, что на нем не осталось живого места, когда он выиграл в покер. Были крысы, которые действительно покидают обреченный корабль; соревнования по плаванию рядом с акулами; и миг, когда мальчишки поймали восемнадцатифутового монстра на лучший свой крючок для ловли акул — помощник капитана не разрешал поднять чудище на свежeverкрашенный борт, так что они закрепили его на корме, и Чарли съехал туда вниз на веревке, чтобы вырезать ему сердце: «С тех пор я ездил на многих животных, но никогда не встречал другого, к которому было бы так трудно прилепиться».

Последний тюк шерсти в Мельбурне; последний мешок риса в Рангуне; последний пакет нитратов в Иквике — он записал их все. И корабль, выходящий из гавани, и всех людей, поющих хором песенку «Идем домой!». И капитана, кричавшего: «Стюард, всем грогу!» — старого шкипера из Ньюкасла в штанах в черно-белую клетку, в зеленом сюртуке, с мягкой белой шляпой «для моря» и с твердой белой шляпой «для берега». Чарли написал и про него.

Вот одна история тех лет.

Мы уже приближались к мысу Горн на всех парусах, сильный ветер задувал справа. Было воскресное утро. Я то спускался, то поднимался через главный люк с Чипсом-плотником, и он сказал: «Наши девушки тянут обеими руками».

Любой старый моряк вам скажет, что у каждого корабля есть веревка: одним концом она привязана к носу, а другой — в руках девушек, что остались дома. Когда в паруса дует попутный ветер, моряки говорят, что это девушки дружно тянут корабль за веревку. А когда ветер плохой, то говорят, что на веревке узел или петля и никак не пройдет через блок; а некоторые говорят, что это девушки веселятся с солдатами и позабыли своих морячков.

И вот в этот самый момент пробило четыре склянки. Было 10 часов утра, и настала моя очередь занять место у штурвала. Едва я успел подправить курс по ветру, как ветер сменился. Теперь дуло на несколько градусов севернее, так что прямые паруса забрали часть ветра из косого паруса. Плотник все еще лазил вверх-вниз, когда корабль развернуло к левому борту. В грот-бам-стакселе ветра не было, и холст понуро лежал на бухте троса на палубе. Плотник потерял равновесие и, оступившись, встал на полотно стакселя. Со следующим поворотом по ветру парус наполнился воздухом снова, натяг свое полотнище, точно тетиву, угодил Чипсу между ног и выбросил его в море.

Я видел, как он упал. На секунду я оставил штурвал и кинул ему спасательный круг. Мы сделали «руль под ветер» и пустили корабль по ветру, дав воздушному течению поднять брамсель и бом-брам-фалы. Пока одни отцепляли спасательную шлюпку, другие тащили в нее верхние летучие паруса (в просторечии — «бумажные змеи»), и меньше чем через десять минут лодка уже направлялась

к плотнику, который сильными гребками плыл в нашу сторону.

При крике: «Человек за бортом!» — все, кто не был на вахте, высыпали на палубу. Первым в шлюпку сел юнга Уолтер Пейтон. Второй помощник, мистер Спенс, знал, что Пейтон плохо плавает, и велел ему выйти, и тогда другой юнга, Филипп Эдди, прыгнул на его место. Но и Уолтер был парень не промах — он пролез туда с носа корабля. Шлюпка оказалась на воде прежде, чем мистер Спенс заметил его, и я слышал его нарекания по этому поводу, когда они проходили под кормой. Потом мы потеряли их из виду в том бурном море, что простиралось между нами.

Шлюпка покинула корабль в 10.15, вся команда была в спасательных поясах. Некоторое время ушло на то, чтобы зарифить паруса. Капитан был наверху, на бизань-салинге, и следил за шлюпкой. Им пришлось долго грести против ветра, и только в 11.30 они наконец оказались рядом с нами. Но мы не могли разглядеть, был ли среди них плотник.

Капитан отдал приказ «руль на ветер», чтобы отклониться от фордевинда, спустить шлюпбалки с подветренной стороны и поднять шлюпку на борт. Мы все увидели мистера Спенса. Он стоял и махал нам руками: то ли чтобы сообщить, что они нашли плотника, то ли потому, что думал, мы их не заметили, — этого мы никогда не узнаем. Но в ту роковую секунду его внимание отвлеклось, и шлюпка задралась и опрокинулась. Мы были не больше чем в двух кабельтовых и видели, как все они попадали в воду.

Мы взяли курс по ветру. Мы поспешили спустить вторую шлюпку, но когда корабль плывет, это всегда сложнее, чем спустить первую. Одна шлюпка всегда была у нас наготове, а вот другие лежали вверх дном на упорах; и не только вверх дном, а еще и набитые всякой всячиной. В первой была дичь, подстреленная капитаном. Во второй — вся капуста, заготовленная для нашего плавания, туда же были сложены пожарные ведра и подпорки, чтобы шлюпки не смыло за борт.

Сначала матросы перевернули шлюпку с левого борта. Но в ту же секунду большая волна ударила в борт ко-

рабля, двое из них поскользнулись, и шлюпка тяжело упала, пробив корпус ниже ватерлинии. Я в это время наблюдал в бинокль за людьми в воде. Я видел, как одни помогают другим ухватиться за перевернутое дно. Затем я увидел Эдди и еще одного матроса, плывущих в сторону корабля. Они подплыли так близко, что их легко было узнать даже без бинокля. Но нас сносило быстрее, чем они плыли, и им пришлось вернуться.

Когда мы перевернули шлюпку на правом борту, нам надо было закрепить лебедку с веревкой за грот-бом-брам-бакштаг, чтобы приподнять шлюпку над бортом. И я не знаю, то ли человек, который привязывал стропу на бакштаг, не умел этого делать, то ли он спешил, но раз за разом стропа соскальзывала, и шлюпка срывалась. А корабль сносило и сносило по ветру, и мы потеряли из виду и шлюпку, и тех несчастных, что цеплялись за ее киль. И все же мы знали, где они, — по полету птиц, круживших над тем местом: альбатросов, глупышей, черных буревестников, вонючек — круг за кругом, круг за кругом кружили они.

Наконец вторая шлюпка под командованием мистера Флинна отплыла от корабля, но был уже почти час дня, когда она прошла под кормой. Ей надо было еще дольше идти против ветра, и спасательные пояса мешали людям. Ей также предстоял и гораздо более трудный путь обратно, поскольку корабль сносило ветром.

Через двадцать минут мы потеряли из виду и эту шлюпку, и тогда началось томительное для всех ожидание. Мы понимали, что пятеро наших товарищей теперь выбиваются из сил, чтобы удержаться за перевернутый киль. Капитан решил пойти против ветра, заложил один галс, потом другой, но наконец решил остаться на дрейфе и не рисковать кораблем. Так мы и дрейфовали, силясь разглядеть возвращающуюся шлюпку.

И в 3.30 мы увидели, как она возвращается. Она прошла под кормой, но и ветер, и волны усилились, и прошло еще некоторое время, прежде чем шлюпка решилась пристроиться рядом. Затем мы осознали худшее. В мол-

чании закрепили мы лебедки и веревки и подняли лодку на борт. У двух или трех человек головы были в крови, зюйдвестки болтались за спиной. Когда корабль снова лег на курс, мы смогли распросить их, и вот вкратце суть того, что произошло.

Они нашли лодку. Они привезли назад спасательный круг, который я кинул плотнику, и три из пяти спасательных поясов. Два других пояса они заметили на воде, людей же нигде не было видно. На них напали птицы, и им пришлось отбиваться упорками со шлюпки. Птицы налетали, сдирали с них шапки: беспощадные клювы альбатросов разбивали им головы в кровь. А когда они осмотрели спасательные пояса погибших и увидели, что у тех развязаны все ремешки, они поняли, что произошло. Птицы стали нападать на людей в воде, они целились им в глаза. Бедные парни сами развязали спасательные жилеты и пошли ко дну, когда увидели, что помощь к ним не идет: у них не было ни малейшей надежды победить в сражении с птицами. Спасательный круг свидетельствовал, что они спасли плотника, прежде чем произошло второе несчастье. Нам было еще печальнее от мысли, что они все сделали, как надо.

Через шесть с половиной часов меня сменили у руля. То была самая долгая «двухчасовая» вахта, которую я когда-либо переживал. Я спустился вниз на полупалубу, чтобы что-нибудь съесть, но когда я увидел смятую постель Уолтера и Филиппа, их штаны, брошенные на сундуках, их сапоги на полу — в общем, все, как было в тот момент, когда они услышали крик «Человек за бортом!», я потерял самообладание и, не думая больше о том, что голоден, только плакал. Позже шкипер велел третьему помощнику забрать меня к себе и разрешить спать в своей каюте.

— Довольно, чтобы мальчишке сойти с ума, — остаться там одному со всеми этими пустыми койками.

В 1877 году Чарли занял место второго помощника на «Чайлдерсе», полномачтовом барке, отправлявшемся в Портленд, Орегон. Это был поганый корабль. Капитан сквернословил; команда подняла бунт; а помощник-абердинец пошел на Чарли с топором. Одного плавания ему хватило. Он ушел оттуда, устроился в Новозеландскую корабельную компанию и оставался там двадцать лет, продвигаясь от грузовых судов к пассажирским и от паруса к пару.

Однажды вечером в конце 1880-х он сидел в первой парилке в олдгейтских турецких банях рядом с черноволосяным человеком, дремавшим на холщовом стуле. Лицо этого человека ничего Чарли не говорило, а вот татуировка на руке могла принадлежать только Дали. Чарли крадучись обошел его, опрокинул стул и впечатал красную пятерню ему в спину. Дали взвыл и стал гоняться за Чарли по всей бане, пока служащие не утихомирили обоих. Чарли удалось загладить инцидент, и вскоре они уже разговаривали о «добром старом «Конвее». Они вместе покинули бани, отправились в театр, а затем поужинали в «Крайтерионе».

«Воистину, — записал Чарли, — мы как корабли, что в ночи проходят друг мимо друга».

Медленно — он не блистал в обществе, и язык его редко находил прямую дорожку к сердцу начальства — продвигался он по службе. В 1888-м он был вторым офицером на почтовом пароходе, оборудованном большим морозильником. Когда судно остановилось в Рио, император Дон Педро II спросил через своих посредников, может ли он взойти на борт.

«Поднявшись по лестнице, император простер свою императорскую длань, чтобы ее могли целовать всякие португальцы и бразильцы, которые тут толпились, а потом пода-

вал ее своему секретарю, чтобы тот ее вытер. После каждого поцелуя секретарь доставал свежий платок и протирал руку, прежде чем ее подставляли другому целующему. Мера, без всякого сомнения, весьма здравая... Но капитан не был обучен целовать руки. Он радостно сгреб эту длань, пожал ее самым сердечным образом и говорит: «Я счастлив приветствовать Ваше Величество на борту моего корабля». Сказать, что император был удивлен, это ничего не сказать. Вероятно, ему не пожимали руку с тех пор, как он был ребенком. Он смотрел на нее и будто говорил: «Ну, старушка, тебе повезло, что ты выбралась оттуда целой и невредимой», и передал ее секретарю, чтобы вытереть снова.

Чарли провел императора к морозильнику и продемонстрировал своего первого быстрозамороженного фазана. Дон Педро сказал своему секретарю: «Нам немедленно нужна морозильная камера в Рио», но прежде чем он получил ее, пишет Чарли, его сверг «этот ужасный неблагодарный генерал Фонсека¹».

¹ **Генерал Мануэль Деодоро да Фонсека** (1827–1892) — возглавил военный переворот 15 ноября 1889 года и после свержения монархии стал первым президентом Бразилии (1889–1891).

Чарли обожал любительские представления и, дослужившись до чина старшего помощника капитана, приказывал ставить пьесы, шарады, живые картины, устраивать бег в мешках — все что угодно, лишь бы облегчить скуку десяти недель в открытом море.

Некоторые развлечения были довольно необычными:

— Я был старшим офицером на королевском почтовом пароходе «Тонгариро», и когда мы зашли в Кейптаун, на борт поднялись один профессор и трое бушменов, пигмеев из пустыни Калахари, — старички со своим сыном. Они были очень маленькие, самый высокий и самый молодой был 4 фута 6 дюймов. Не знаю уж, были ли у них имена, но мы называли их Эндрю Покатушка-старший, Миссис Покатушка и Эндрю Покатушка-младший.

Старики были на самом деле очень старыми. Судя по белому кольцу вокруг зрачка, доктор сказал, что старику должно быть за сто лет. Сам старик считал, что ему 115, но это было только предположение. Они не говорили ни слова на африкаанс, то есть говорил только Эндрю-младший; родители же не говорили ни на одном из понятных кому-либо языков.

На старика было очень любопытно смотреть. На голове у него не было ни волоса, а лицо было высохшим и морщинистым, как у обезьянки. Но сын и жена были у него в полном поработении, так что мы решили, что в свое время он был настоящим татаринном.

Мы попросили профессора прочитать о них лекцию. Нам всем хотелось прийти, и к 8.30 в кают-компанию набились дамы и господа в вечерних одеждах, а капитан и офицеры были в парадной форме. Представление началось с того,

что старик стал извлекать звуки из тетивы своего лука, а миссис Покатушка и Эндрю-младший прыгали самым потешным образом. Вскоре мистер Покатушка пришел в сильное возбуждение, стал ударять и дергать свою струну в два раза быстрее; затем снял тетиву и принялся, как кнутом, хлестать ею жену и сына до тех пор, пока те не запрыгали довольно слаженно. Мы решили, что, по его мнению, они танцевали недостаточно быстро. Но через пару минут профессор оставил их и начал.

Он показал множество черепов разных рас — европейцев, азиатов, американских индейцев, китайцев, негров, австралийских темнокожих и, наконец, черепа бушменов. Он сказал, что по измерениям мозга и размеру черепной коробки бушмены-пигмеи не являются самой низкой разновидностью человеческой расы, а в самом низу стоят австралийские темнокожие.

Лекция была очень интересной, но я замечал, что старый мистер Покатушка сильно встревожен. Затем он проскользнул под стол и прополз между стульями к двери. Выбравшись наружу, он взял ноги в руки и побежал. Я поймал его и привел обратно, но он яростно сопротивлялся. Я посадил его в кресло, но и там он доставил мне множество хлопот: пришлось следить, чтобы он не сбежал оттуда.

Затем я спросил молодого Эндрю через переводчика: «Почему твой отец сбежал с лекции, что он хотел этим сказать?» И тот ответил:

— Мой отец много раз бывал на таких собраниях. Он хорошо знает, когда наступает «время убийства». Он был уверен, что это время уже очень близко, и убежал. Он убежал потому, что он тут самый старейший — так что его, конечно, убили бы первым.

В 1890 году Чарли женился на новозеландской девушке по имени Джинетта Рутерфорд и между плаваниями зачал двоих сыновей и дочку. Джинетта была трагической фигурой, изнуренной одиночеством и английским климатом. Отношение ее мужа к браку, возможно, лучше всего передает одна цитата, которую я нашел в его записной книжке под названием «Эта свобода»:

Дело мужчины — посеять и уехать прочь; зачать — дело женщины, и то, что она примет от него, она полюбит и заключит внутрь себя. Для ее тела такая функция — слава, для ума — тяжкий груз. Мужчина уезжает, он житель палаток, араб со своей лошадью и долинами, что расстилаются перед ним. Женщина — жительница городов, окруженных стенами, обительница дома, собирающая свое имущество, живущая вместе с ним и неотделимая от него.

К 1896 году здоровье Джинетты не позволило ей больше жить в Англии, и она переехала в Кейптаун вместе с детьми. Она умерла 3 марта 1897 года от костного туберкулеза. Чарли перевез детей обратно к своей незамужней сестре в Шрусбери.

Спустя шесть месяцев он стал капитаном своего первого корабля. Корабль назывался «Матаура», полупассажирский-полугрузовой корабль с одним винтом водоизмещением 7584 тонн, недавно построенный в Клайде. Он перевозил 20000 тюков с шерстью и столько же мороженных туш. На нем было поставлено несколько парусов, чтобы в критическом случае привести его в равновесие и не потерять управление, а вот радио не было.

Плавание было спокойным, а пассажиры шумными. Это была новозеландская стрелковая команда, возвращавшаяся с чемпионата в Колапуре. В день прибытия в Веллингтон капитан команды устроил вечеринку в «Дрилл-холле». Чарли страдал расстройством желудка, не смог найти свой фрак и сидел незаметно в углу, пока пассажиры не попросили его произнести речь.

— Уважаемые господа, — сказал он. — Я благодарен Провидению за то, что оно избрало меня орудием перевозки этих смелых новозеландских воинов назад к их домашнему очагу.

И сел.

Никто не аплодировал, кроме маленького сморщенного француза, сказавшего:

— Капитан, вы произнесли лучшую речь за сегодняшний вечер.

— Только если считать краткость сестрой таланта, — ответил Чарли.

Француз по имени Анри Гриен взошел на борт еще утром и попросил доставить его до дому бесплатно за участие в патенте на костюм для погружений (этот костюм он надеялся продать Британскому адмиралтейству). Костюм, говорил он, работает по принципу медного парового котла.

Надев его, каждый может спуститься на шестьдесят морских саженей без всякой опасности для себя. Правда, одного датского ныряльщика, который первым опробовал костюм в Сидней-Хедз, утянуло на дно, и он погиб.

— А почему ты сам не спустился?

— Какие глупости, — сказал Анри, — если я спущусь в костюме, а что-то пойдет не так, кто же разберется, в чем дело?

Чарли занес его в список пассажиров не столько из-за костюма, сколько в качестве очередного развлечения.

— Я сообщался сегодня с миром духов, — заявил как-то утром Анри. — Этот корабль потонет, но команда спасется.

— Совершенно верно, Анри. Спасибо.

В это же время Чарли получил другое сообщение, с берега, от одной женщины, которой приснилось, что корабль потонет.

За полчаса до отплытия его друг, капитан Краучер с винтового парохода «Вайкато», поднялся на борт и попросил одолжить кого-нибудь, чтобы восполнить нехватку в людях.

— Мне совершенно необходим еще один человек. Дай мне что угодно, лишь бы в брюках, тогда я справлюсь.

— Можешь забрать вон того, если хочешь. — Чарли указал на француза, мывшего пол в его каюте. — Анри, собирай вещи и отправляйся на «Вайкато».

— Нет.

— Ты что, не понял? Пойдешь домой на «Вайкато».

— Нет.

Чарли схватил его за шею, спустил с лестницы, наподдал ногой и велел выбросить его багаж на пристань. Анри побежал за ордером на арест за оскорбление личности, но в магистрате был обеденный перерыв, и Анри побежал обратно. И пока «Матаура» пятилась от Королевской пристани, он влез на швартовую тумбу, чтобы оказаться на одном уровне с капитанским мостиком, и прокричал:

— Капитан, помните, к востоку — беда!

Чарли увидел несколько кусков каменного угля, лежавших на палубе, и позвал боцмана:

— Ну-ка, боцман, попробуйте. Посмотрим, сможете ли вы снять его с этого насеста.

Боцман метнул кусок угля и «аккуратно снял его». Тогда Анри бросился к другой тумбе в самом конце причала:

— Помните, к востоку — беда.

— Ну-ка еще раз, боцман.

Но боцман промахнулся, и последнее, что они видели, была маленькая фигурка, машущая руками на своей тумбе.

В следующее воскресенье, когда капитан, пассажиры и команда заканчивали богослужение в кают-компании, а главный механик играл последний гимн, неожиданно раздался грохот, и двигатель остановился на полуобороте. Многие попадали на пол.

Чарли бросился на мостик, там к нему вскоре присоединился главный механик.

— Корабль полностью... ему больше не ходить.

— Ерунда. Он пойдет.

В ответ главный механик пожал плечами и удалился к себе в каюту чего-нибудь выпить. Чарли снял с него его обязанности и спустился вниз осмотреть нанесенный ущерб. Машинное отделение представляло собой «страшный хаос»: насосы снесло с ползунов; рычаги и шатуны были погнуты; шарниры и крепления выломаны.

Скорее всего, в проекте была ошибка, но даже в комиссии по расследованию толком не смогли понять, что произошло. По-видимому, циркулировавшая в насосе вода не вышла вовремя, и насос натолкнулся на твердую водяную массу, «которая, как знает всякий, не поддается сжатию».

Второй механик был не таким фаталистом и умудрился кое-где выпрямить погнутое железо. Мотор снова стучал. Чарли соорудил наспех несколько прямых парусов, и в течение трех недель «Матаура» хромала на четырех узлах, оставляя позади ревущие сороковые¹.

По инструкции корабль должен был обогнуть мыс Горн, но если мотор забарахлит и выйдет из строя, их понесет дальше, к Южной Атлантике. Чарли отважился на про-

¹ Ревущие сороковые — сороковые широты в Атлантическом океане.

ход вдоль самого опасного подветренного берега в мире, с тем чтобы войти в Магелланов пролив с запада. Если они окажутся за мысом Пилар, северной оконечностью острова Десоласьон, у них будет шанс сохранить корабль.

12 января в 8 утра он позвал к себе главного механика, который снова приступил к своим обязанностям. Чарли объяснил, что они находятся у подветренного берега и спросил, не хочет ли тот подтянуть насосные цепи. Механик сказал:

— Нет. Корабль еще сутки протянет, насколько я понимаю.

В 11.45 сквозь ливень и густой туман, которые пришли со шквалами северо-западного ветра, в полумиле от корабля Чарли увидел Судейские скалы. Корабль занесло на двенадцать миль южнее расчетного курса. Чарли направил его прямо против ветра, чтобы обойти дальний утес Апостола, несколько отстоящий от мыса. Но ветер относил его обратно, и пока скала приближалась, Чарли сверил направление по компасу и засомневался, что сможет пройти ее на ветре.

В два часа механик поднялся на палубу и сказал:

— Цепи провисли. Придется остановиться.

— Мы не можем останавливаться! — заорал Чарли.

— Корабль продержится минут двадцать, не больше.

Чарли созвал помощников:

— Где двадцать минут, там и тридцать. И если я поймаю попутный ветер и пройду за дальним утесом Апостола, мы обогнем мыс прежде, чем сядут моторы. Я знаю, это опасно, но если бы там была скала на глубине меньше двадцати шести футов, над ней был бы водоворот, а я не вижу никаких водоворотов.

Он привелся к ветру и взял курс за утес Апостола. Через десять минут корма задела за самую верхушку подводной скалы. Он почувствовал, как раздирает обшивку, и понял, что корабль тяжело ранен. Он дунул в свисток, чтобы задраили люки, но главный механик засунул куда-то ключ. Вода заполнила машинное отделение, и топка потухла.

Побережье острова Десоласьон изрезано короткими фьордами. Чарли увидел в бинокль разлом среди утесов. Он принял его за Охотничью бухту, отмеченную на карте. Парус давал скорость небольшую, но достаточную для маневра, и Чарли направился ко входу. Бухта раскрывалась все шире перед ним, и постепенно становился виден защищенный фьорд и галечный берег вдалеке. «Я заведу корабль туда, — подумал он, — и спасу его». Но корма была почти затоплена, корабль не слушался руля, он отклонился от курса и сел на камни у самого входа в бухту.

Это была не Охотничья, а какая-то другая бухта (на современных картах она отмечена как бухта Матаура, а скала называется скалой Милворда). Они спустили шлюпки, зашли в бухту и переночевали на воде, а высоко над ними ревел ветер. На рассвете несколько человек под командой старшего помощника отправились на корабль за провизией, но вернулись ни с чем. Чарли пришлось ехать самому, и он привез 11 овец, 200 кроликов и 500 мер муки.

— Как вам это удалось, сэр? — спросил главный помощник.

— Причина, по которой это не удалось вам, — ответил Чарли, — в том, сэр, что вы трус.

После этого отношения между капитаном и его помощниками стали натянутыми.

Утром они вышли в море на веслах, но ветер не утихал, гребцы сбили руки в кровь, и стало ясно, что сегодня мыс Горн обогнуть не удастся. Вернувшись в бухту Матаура, они принялись варить овец и кроликов в оцинкованных ведрах. Проверя вместе с главным стюардом имеющиеся запасы, Чарли обнаружил два ящика джема, которые прихватили с корабля юнги.

— Вы не придумали ничего умнее, чем притащить сюда джем?!

— Но что может быть лучше джема, сэр?

— Стюард, — дрогнувшим голосом сказал Чарли, — сделайте тогда рулеты с джемом.

Лил такой дождь, что им пришлось накрыть стюарда брезентом, иначе тесто оказалось бы слишком жидким.

Среди пассажиров были две женщины. Леди лишились своего сундука, и Чарли снабдил их своими шерстяными тельняшками и кальсонами из ягнячьей шерсти. На следующее утро шлюпки во второй раз попытались обогнуть мыс, но потерпели неудачу. На военном совете Чарли сказал, что сделает еще одну попытку, а если не получится, он пойдет к югу вдоль побережья острова Десоласьон и войдет в пролив через канал Абра. Ему ответили, что это самоубийство.

Погода снова была ужасной. Чарли просигнализировал дамской нижней юбкой, что направляется к югу. Он зарифил парус и проскользнул между берегом и Судейскими скалами, не дожидаясь шторма. Офицеры за ним не последовали, а судовой врач, который находился в лодке Чарли и смотрел в бинокль, сообщал, что они переворачиваются один за другим. Чарли предоставил их воле Провидения, а сам повел дальше шлюпку, полную воды до самых банок.

С подветренной стороны острова Чайльда они пристали к удобному берегу: Чарли обещал дамам чашку чая при первой же возможности. Но когда мужчины сошли на берег за хворостом, ветер сменил направление, и в бухту стали вкатываться огромные буруны. Капитану и команде пришлось раздеться и толкать лодку обратно в море. «Ох, ну и холодно же нам было. Одни наши голые лапищи чего стоили! Со смеху можно было умереть. Мы все красные как раки, зубы стучат...»

Дамы спрятались под брезентом на дне лодки, а голые мужчины сушилились, натыкались друг на друга и путались в парусе. Внезапно снизу раздался крик:

— Осторожно! Кто-то из вас наступил маме на голову, она сейчас задохнется.

К полудню следующего дня они уже зашли в пролив, возблагодарили Всемогущего за спасение и уселись за ланч, состоявший из супа, баночного лосося, вареного ягненка, кролика, батончиков с джемом, «оказавшимся нику-

дышной начинкой», и кофе. В полдень они увидели шхуну янки, которая двигалась по заливу против ветра. Шкипер предложил отвезти дам в Сан-Франциско, но дамы отказались. Чарли установил два одеяла вместо паруса-спинкера, и лодка потащила дальше вниз по каналу к мысу Фровард.

Когда они обогнули мыс, ветер опять переменялся, и все поочередно брали весла в руки и гребли из последних сил к Пунта-Аренас. В полдень третьего дня их подобрал винтовой пароход «Хиссон», принадлежавший китайской акционерной компании. Судно вошло в док в 6.30. Чарли поместил пассажиров в отель «Космос», велел немецкому управляющему предоставить им все, что им понадобится, сколько бы это ни стоило, договорился, что чилийский флот вышлет буксир «Яньес» на поиски оставшихся людей, и до полуночи спорил с торговцами спасенным имуществом, но так и не пришел к соглашению.

В отеле он отправился в комнату к дамам.

— Я пришел поздравить вас с тем, что теперь вы в полной безопасности.

Но дамы даже не шевельнулись.

— Вы что же, даже не пожмете мне руки?

Медленно-медленно из-под одной простыни показались кончики пальцев.

Чарли заподозрил неладное, взял их и мягко потянул.

В своем дневнике он записал:

«Представьте! За пальцами показалась совершенно голая рука. Хозяин ничего не сделал для этих дам, и они просто сняли мокрую одежду и нырнули под простыни».

— Пожалуйста, капитан, — сказала дама постарше, — пожалуйста, не причиняйте никому беспокойства. Нам теперь тепло и удобно.

— Я тут, без всякого сомнения, причину беспокойство!

Он знал, где спит управляющий, и разбудил его криком:

— Как вы посмели отправить этих несчастных дам спать без ночных рубашек?

— Убирайтесь. Я есть в постель мит майн вайф. Как вы смеет? Шейчас же убирайт!

— Да мне плевать, где вы и с кем вы. Но если вы сейчас же не сделаете, как я говорю, то могу точно сказать, где вы окажетесь через две секунды. Я тут прямо у вашей двери. И я считаю до тридцати, и если мне не будет выдано ночных рубашек, то моим неприятным долгом будет снять их с вас и вашей жены. Раз, два, три, четыре...

Чарли досчитал уже до двадцати пяти, когда управляющий окончательно пришел в себя, передал ему две дамские ночные рубашки и вернулся к жене спать.

К утру торговцы снизили свои условия до 80% плюс 20% страховой фирме Ллойда. Чарли отказался, и к двенадцати они заявили, что эти условия включают и 5% ему лично.

— Согласен, — сказал он, — итак, получается 75% для вас и 25% для страховщиков.

Дон Хосе Менендес, который внес это предложение, подошел к нему и сказал:

— Капитан, вы круглый дурак. Почему не берете 5%?

— Я сейчас стараюсь для страховщиков, они мне и заплатят.

— Все равно, капитан, попомните мои слова. Однажды вы поймете, что я был прав.

За триста пять лет до того, как Чарли не смог обогнуть мыс Пилар, капитан Джон Дэвис едва протиснулся мимо него на своей «Дезайр»:

«На следующий день, 11 октября, мы увидели Кабо-Десеадо (мыс Пилар), мыс на южном берегу (у северного берега нет ничего, кроме скопления опасных скал и мелей). Этот мыс был от нас в двух лигах с подветренной стороны. Наш шкипер усомнился, что мы сможем его обогнуть, на что капитан сказал: «Видите ли, у нас нет другого выхода: либо мы обогнем его, либо к полудню погибнем. Так что распустите паруса, и предадимся воле Божьей».

Шкипер, будучи человеком смелым, быстро удалился и поставил парус. Паруса не простояли на борту и полчаса, как нижняя подбора фока порвалась, и теперь он держался только на проушинах. Волны вновь и вновь бились о корму и набрасывались на паруса с такой яростью, что мы только и ждали, что они порвут их или перевернут корабль. Кроме того, мы к нашему ужасу чувствовали, что нас сносит все дальше и дальше по ветру и мы не успеваем обогнуть мыс и что несет нас так близко к берегу, что катящиеся от него вспять морские буруны грохочут о борт корабля, и близкая кончина заставляла нас леденеть от страха.

И когда мы были на пороге смерти, а ветер и волны ярились безмерно, наш шкипер изменил направление гротового паруса, и было ли то по случайности, или из-за какого-то течения, или по причине всемогущества Божия — а мы полагаем, что было именно так, — но корабль побежал быстрее и скоро прошел ту скалу, к которой, как нам думалось, нас прибьет. Затем между мысом и этим местом появилась маленькая бухта, так что мы шли теперь даже несколько дальше от берега, но когда дошли до мыса, то уже ожидали верной гибели; однако добрый Отец наш Господь по великой милости Своей спас нас, и мы обогнули мыс, пройдя от

него в одном корпусе или только немногим больше. Едва миновали мы мыс, как тут же собрали паруса, которые сохранило нам Божье произволение, и потом нас вынесло к гористой местности. Дул пассат, даже с убранными парусами мы черпнули воды, почти уже выйдя в открытое море: трое не могли справиться с рулем; за шесть часов проделав двадцать пять лиг по проливам, мы наконец обнаружили море, чье имя достойно океана».

Из «Путешествий и трудов Джона Дэвиса», изд.
«Альберт Хастингс Маркхэм», 1880, стр. 115-116.

80

Люди Чарли не утонули. У них унесло мачты, но лодки не перевернулись. Они отгребли назад к бухте Матаура, обогнули мыс в первый же погожий день и встретились с «Яньесом».

Чарли провел два месяца на острове Десоласьон, спасая имущество, прежде чем отплыть в Англию, где его ожидало официальное расследование. Он знал, что потеряет работу. Новозеландская корабельная компания не давала второго шанса капитанам, потерпевшим крушение. Но он уже успел почувствовать таинственный магнетизм Юга, и в голове у него теснились разные финансовые комбинации.

Его первым планом стала реклама английских и американских товаров, для чего он хотел украсить весь Магелланов пролив бело-голубыми эмалевыми рекламными щитами. Но предназначалась эта реклама в первую очередь вовсе не пассажирам пароходов. Чарли собирался печатать иллюстрированные статьи в международной прессе, привлекая внимание общественности к «осквернению прекрасных видов злодеями-рекламщиками».

Найти людей, готовых поддержать это начинание, ему не удалось.

Однажды весенним утром, никого не предупредив о своем прибытии, Чарли вышел из двухколесного экипажа у своей компании на улице Лиденхолл. На тротуаре стоял Анри.

— Ну что, мой капитэн, я был прав? К востоку была беда?

Ни слова не говоря, Чарли взбежал по ступеням.

— Сколько времени этот человек простоял там? — спросил он у Мортимера, главного портье.

— Около десяти минут, сэр.

— Я не имею в виду сегодня. Сколько он тут вообще околачивается?

— Только сегодня с утра, сэр. Сегодня первый раз его и вижу.

Чарли схватил Анри за грудки и начал трясти его.

— Кто тебе сказал, что я буду в Англии сегодня?

— Те, который мне говорить, что к востоку беда, — духи.

«Я не пытаюсь этого объяснить, — пишет Чарли. — Я только излагаю то, что было. Поговорив с управляющим, я вышел из конторы; наш разговор занял всего несколько минут — меня уволили после двадцати лет службы из-за того, что сломался мотор».

Еще он зашел к мистеру Лори в Лондонскую ассоциацию спасения имущества и попросил оплатить его счет на 3 фунта в отеле «Космос».

— Капитан, думается, вы неплохо подработали на нашем кораблекрушении, так что можете оплатить свой счет в отеле.

Теперь он понял, на что ему намекал Хосе Менендес.

«Я собрался было сказать ему, что мог получить две тысячи, если бы не моя честность. А потом я увидел, что бессмысленно говорить с таким человеком о честности. Он даже не знает значения этого слова».

Все лето разобиженный Чарли просидел в Шрусбери, а в августе получил письмо от мистера Уильяма Фицджеральда из журнала «Весь мир»: тот предлагал оплатить ему билет первого класса до Лондона. В редакции он поискал кого-нибудь, кому можно было бы вручить свою визитку, а затем постучал в дверь с табличкой «Редактор» и вошел. Анри Гриен в модном костюме расхаживал по комнате, а какой-то молодой человек диктовал что-то своему секретарю.

— Привет, Анри, как дела?

— Я вас не знаю.

Молодой человек вскочил из-за стола.

— Какого черта, сэр, почему вы врываетесь ко мне без стука и называете этого джентльмена Анри, в то время как его имя Луи де Ружмон.

— Остыньте, молодой человек. Я тут у вас не нашел, кому вручить карточку. Я постучал — дважды. Я назвал Анри Гриена так, как его зовут. Поскольку же, сэр, вы сами попросили меня приехать сюда, то я ожидал совсем иного приема, а раз у вас столь распушенные манеры, то мне остается лишь пожелать вам всего хорошего.

Чарли направился было к двери, но француз уже заключил его в объятия и поцеловал.

— О! Это мой маленький капитэн. Простите меня. Я не узнал вас. Вы же сбрили бороду.

Но Чарли все еще злился и вышел вон. Француз бросился за ним.

— Вы не можете сейчас уйти, мистер де Ружмон, — крикнул редактор. — Мы должны подготовить вашу речь перед Британской ассоциацией в пятницу.

— Не хочу знать никакая речь. Я ухожу с моим маленьким капитэном.

Им обоим были не страшны никакие бури, и они отправились в ресторан «АВС» на побережье. Так мистер Фицджеральд впервые услышал это имя — Анри Гриен.

Анри Гриен был сыном раздражительного и неряшливого швейцарского крестьянина из деревушки Грассет на озере Невшатель. В шестнадцать лет он сбежал из наследного хлева в объятия стареющей актрисы Фанни Кембл, которая поставила его лакеем на запятках своей кареты и в течение семи лет катала по миру рампы и гримерных. Его актерский талант остался незамеченным, и в 1870 году он разделил судьбу многих театральных неудачников: стал домашней обслугой, дворецким сэра Уильяма Кливера Робинсона, назначенного губернатором Западной Австралии. Губернатор любил музыку и поэзию, а среди своих друзей числил французского ученого месье Луи де Ружмона, автора трактата о девственности.

Анри оставил губернатора и нанялся на рыболовецкое судно. Он был поваром на шхуне ловцов жемчуга и потерпел кораблекрушение. Он работал посудомойщиком в отеле и уличным фотографом в городе, охваченном золотой лихорадкой. В 1882 году он женился на красивой молодой женщине, подарившей ему четверых детей. Он был художником — перерисовывал пейзажи с фотографий, — торговцем поддельными акциями угольных шахт, официантом в одном из ресторанов Сиднея. Одним из его клиентов оказался исследователь Кембриджского залива, чьи дневники он взял почитать и снял копии.

Он бежал из Австралии, прочь от полиции и от обязанности содержать жену. В Веллингтоне, в Новой Зеландии, познакомился с какими-то спиритами, которые обнаружили в нем великолепного медиума. Он рассказал свою историю журналисту, и тот ответил, что в качестве художественного вымысла она может стать бестселлером, однако

Анри не хотел об этом и слышать: вымысел и реальность уже успели смешаться для него воедино. Однажды вечером он одолжил у кого-то парадный костюм и пробрался в «Дрилл-холл», где встретил капитана Чарлза Амхерста Милворда.

Он действительно вернулся в Англию на борту «Вайкато» — и, похоже, проклял этот корабль (вскоре у «Вайкато» сломалась ось гребного винта возле мыса Доброй Надежды, и течение Агулас унесло его к югу, где он дрейфовал в течение четырех месяцев — самый долгий пароходный дрейф за всю историю человечества. Конрад использовал эту историю в своей повести «Фальк»). Поздней весной он появился во «Всемирном», в потертом костюме, но с письмом от парламентария-консерватора, в котором говорилось: «У этого человека есть история, которая, если все это правда, потрясет мир».

Анри рассказал Фицджеральду, что он сын богатого парижского купца по имени де Ружмон. Мальчиком мать забрала его в Швейцарию, где в нем развилась склонность к геологии и спортивной борьбе. Не желая возвращаться обратно во Францию к уготованной ему карьере военного, он отправился путешествовать на Восток, плывал на голландском судне ловцов жемчуга и оказался единственным, кто выжил после кораблекрушения. Выброшенный на коралловый риф, де Ружмон развлекался ездой на черепахах, построил себе дом из жемчужных раковин и смастерил каню (которое, как и у Робинзона, оказалось слишком тяжелым, чтобы доставить его на берег).

После нескольких неудачных попыток он достиг австралийского побережья в заливе Кембридж, женился на угольно-черной женщине по имени Ямба и тридцать лет прожил среди аборигенов, питаясь ямсом, змеями и ведьминскими личинками (но никогда человеческой плотью); спортивная борьба сделала его героем племени и подняла до положения вождя. Только когда Ямба умерла, он двинулся в сторону цивилизации. В Кимберли он жил с золотодобытчиками.

Мистер Фицджеральд гордился тем, что умел всегда распознать подделку. Ему казалось, что Ружмон рассказывает о своей жизни «так, как описывают поездку в автобусе», и был убежден в его полной правдивости. В то же лето группа журналистов и стенографов сколотила из его рассказа нечто пригодное к публикации. Главный свидетель, капитан Милворд, держал язык за зубами: он помнил, что произошло, когда он рассердил Анри Гриена.

Первая часть «Путешествий Луи де Ружмона» вышла в июльском номере, и тиражи немедленно взлетели. К печати уже была подготовлена книга. Со всего мира приходили телеграммы от желающих обсудить цену на право перепечатать «Путешествия...». Хозяйки салонов осыпали француза приглашениями. Мадам Тюссо слепила с него восковую маску, а Британская ассоциация по развитию науки пригласила выступить с двумя лекциями на ежегодном конгрессе в Бристоле.

Лекция в первый день показалась аудитории скучной. На второй день он попытался оживить лекцию каннибальскими подробностями своей супружеской жизни с Ямбой, но с этого дня начался закат его славы. «Дейли кроникл», почуяв сенсацию, вышла с передовицей, в которой Ружмон объявлялся обманщиком. Последовали другие разоблачения, поддержанные в академических кругах. В ту осень, когда Британская империя находилась в зените славы, на первых полосах газет обман Ружмона красовался рядом с битвой при Омдурмане, инцидентом в Фашоде¹ и возобновлением дела Дрейфуса². «Дейли кроникл» разыскала его мать, все еще проживавшую в Грассете, и 21 октября миссис Анри Гриен из Ньютона, Сидней, узнала в де

¹ **Инцидент в Фашоде** (1898) — попытка французской армии закрепиться в арабском селении Фашода на территории Судана, находившейся под контролем Англии, которая чуть не привела к войне между Францией и Англией.

² **Дело Дрейфуса** (1894, возобновлено в 1906-м) — обвинение капитана французской армии Альфреда Дрейфуса, еврея по происхождению, в шпионаже в пользу Германии. Несмотря на отсутствие доказательств его вины, Дрейфус был осужден и много лет провел в тюрьме, но это осуждение невинного вызвало возмущение не только во Франции, но и во всей Европе. Под давлением общественности дело было пересмотрено, все обвинения сняты за недоказанностью.

Ружмоне того, кто должен был обеспечивать ее существование на двадцать шиллингов и пять пенсов в неделю.

Путешественник переносил все нападки с неизменным спокойствием и опять вернулся на сцену. Лондонский ипподром закупил нескольких черепах и соорудил резиновый резервуар, но то ли климат, то ли наездник подействовали на черепах столь удручающе, что они погрузились в беспробудную спячку. Затем он привез свое представление «Величайший лжец в мире» в Дурбан и Мельбурн. Аудитория криками заставила его замолчать.

9 июня 1921 года Луи Редмон, как теперь его звали, умер в лазарете Кенсингтонского рабочего дома.

Пока журналисты развенчивали де Ружмона, Чарли отплыл обратно в Пунта-Аренас. Его бурная натура брала свое.

Его второй путь наверх скрывается за облаками времени и расстояния. Мне пришлось реконструировать его по выцветшим сепиевым фотографиям, по копиям документов, сделанным под красную копируку, по нескольким сохранившимся вещицам и воспоминаниям стариков. Первый ряд образов — энергичный, уверенный в себе первопроходец с закрученными длинными усами, охотник на морских слонов в Южной Джорджии, спасатель имущества, нанятый фирмой Ллойда, помогавший одному немецкому золотоискателю взорвать динамитом Милодонову пещеру; предприниматель, вместе со своим немецким партнером герром Лионом совершающий обход литейного завода, чтобы осмотреть водяные турбины или токарные станки, импортированные из Дортмунда или Кёппингена. Лион был методичным человеком, который управлял заводом, пока Чарли ловил клиентов. Панаму еще не разрезали каналом, и бизнес идет хорошо.

Второй ряд образов: консул самых южных земель Британской империи, почетный гражданин Пунта-Аренас, директор городского банка. Он успешно делал деньги (хотя их все равно не хватало), прихрамывал из-за прострела и «тосковал по новостям» из дому. Старейшие члены Английского клуба все еще помнят его. Я и сам посидел в этих высоких комнатах, выкрашенных в цвет морской волны и увешанных спортивными гравюрами и литографиями эпохи Эдуарда VII. Прислушиваясь к перезвякиванию стаканов с виски и стуку бильярдных шаров, я с легкостью мог вообразить, как он сидит на замшевом диване с пуговицами, выставив вперед больную ногу, и рассуждает о море.

Среди его писем тех лет я нашел письмо моему дедушке — выразившее надежду, что гибель «Титаника» не заставит его прекратить занятия яхтенным спортом, записку почтенному Уолтеру Ротшильду о переправке дарвиновых нанду и докладную записку на гербовой бумаге, адресованную нанимателю одного шотландца, который уже умер: «Он позорил имя британца с тех самых пор, как приехал сюда... Он использовал свой бассейн вместо ватерклозета. Его комнаты устыдилось бы любое животное, а в его сундуке обнаружилось пятнадцать бутылок из-под виски. Я очень сожалею, но истина лучше, чем ложь».

В эти письма постепенно проникает отчаяние. Ни один из его замыслов не удается в полной мере. Он сверлил нефтяную скважину в Тьерра-дель-Фуэго, и у него сломался бур. Земли в Валле-Уэмелес обещали огромные барыши, но там ему пришлось столкнуться с овцекрадами, пумами, мошенниками и незаконным захватом территории: «С нашей землей в Аргентине чертовские сложности. Правительство отдало ее одному еврею, который соизволил поклясться под присягой, что все мои стада и постройки принадлежат ему». Чтобы не потерять все, он попросил Брауна и Менендеса о помощи, и они вскоре свели его долю к пятнадцати процентам.

В 1913 году он привез сюда своего сына, только что окончившего школу в Англии, — это входило в его план по «закалению» мальчика. Проторчав долгую снежную зиму в долине Уэмелес, Гари Милворд возненавидел ферму, ее управляющего и одновременно своего отца, что неудивительно, когда письма неизменно кончаются следующим образом: «А теперь до свидания, мой мальчик, и не забывай, что хотя ты чрезвычайно далек от Господа нашего, Он совсем рядом с тобой там, как и здесь. Твой вечно любящий отец...» Дальнейшая карьера Гари была вполне предсказуема. Он отправился на войну, стал записным гулякой, три раза женился и закончил дни свои секретарем гольф-клуба в Англии.

В альбоме Чарли я нашел фотографии недостроенного нового дома, своего рода викторианского пастората,

перенесенного на берега Магелланова пролива. Он передал половину участка англиканской церкви Святого Джеймса и стал ее старостой и главным меценатом. С какой гордостью он распаковывал купель, присланную ему в дар королевой Александрой, с какой гордостью приветствовал архиепископа Фолклендского на освящении! Но даже церковь оказалась для него источником проблем. Он обвинил vicar в том, что тот выбирает никому не известные гимны, чтобы петь соло. Паства, настаивал Чарли, имеет право на «Пребуди со мною» или «В опасности, в печали». Тогда преподобный Кейтер пустил слухок, что капитан Милворд выпивает в одиночку.

Когда началась война, он еще лежал в больнице в Буэнос-Айресе, где ему делали операцию на кишечнике. Но вскоре она затянула его в свой водоворот. Визитная карточка адмирала Краддока, все еще приколотая к зеленому сукну в Английском клубе, — прямое напоминание о том, что консул самых южных земель был последним из штатских, кто видел адмирала в живых. Чарли отужинал на борту «Доброй Надежды» за два часа до того, как британский флот отправился на роковую встречу с немцами близ Коронеля. В своей докладной он передает отважный, но раздраженный ответ адмирала на полученный приказ Черчилля: «Я отправляюсь на поиски фон Шпее¹, и если я найду его, то моя песенка спета».

Чарли ненавидел войну: «Толпа людей, которые режут глотку друг другу и не знают зачем». Он не собирался поддаваться военной истерии. И со своим немецким партнером он тоже не собирался порывать. «Лион не из провоенной партии, — писал он — он славный, хороший, честный белый человек». Британская колония взъелась на него за это и распустила слух, что консул политически неблагонадежен. В «Вестнике Буэнос-Айреса» появилось анонимное

¹ **Максимилиан фон Шпее** (1861–1914) — германский вице-адмирал, граф. В Первой мировой войне командующий эскадрой крейсеров в Тихом океане. Нанес тяжелое поражение Британскому флоту в сражении у мыса Коронель (Чили) в 1914 году, но в том же году был разбит британской эскадрой у Фолклендских островов и погиб в бою.

письмо, где упоминалось «британское консульство, как его до сих пор изволят именовать сам консул».

Кроме этого на память о военных годах остались золотые часы, преподнесенные ему Британским адмиралтейством за годы верной службы. Когда вице-адмирал Стэрди потопил эскадру фон Шпее у Фолклендов, крейсер «Дрезден» ускользнул и укрылся на западном конце пролива Бигл, закамуфлированный деревьями, на довольствии у местных немцев (британские поселенцы отметили, что в городе стало меньше собак, и острили насчет того, что колбаса у немецкой команды отдает псиной). Чарли выяснил, где стоит крейсер, и телеграфировал в Лондон. Но вместо того чтобы последовать его совету, флот сделал прямо противоположное.

Причина был проста: «истинные британцы» убедили адмиралтейство, что этот консул — немецкий агент, и добились его отстранения. Только когда они осознали свою ошибку, ему были принесены извинения. Золотые часы должны были стать компенсацией за всю ту клевету, что громоздилась вокруг Чарли. Шли они к нему долго. «Я спягу в могилу, — писал он, — прежде чем их увижу».

Третьим экспонатом того времени является цветная гравюра Сесила Олдина — собаки у миски с едой. Она вызывает в памяти образ сэра Эрнеста Шеклтона, который рассказывает по гостинной Чарли и произносит пламенную речь перед редактором газеты, мистером Чарлзом Риеско, о бедственном положении своих людей, застрявших на острове Элефант¹. Из статьи в «Магеллан таймс» — «глубоко посаженные серые глаза», «величие, уравновешенное скромностью», «лучший представитель нации» и т.п. — вы никогда не догадаетесь о том, что произошло.

Чарли притворялся, что дремлет в кресле-качалке, пока путешественник потрясал в воздухе револьвером, стремясь подчеркнуть самые важные места своей речи. Первая

¹ Эрнест Генри Шеклтон (1874–1922) — английский путешественник и исследователь. Во время экспедиции к берегам Антарктиды (1914–1917) один из его кораблей потерпел крушение, и экипаж после дрейфа на льдине высадился на острове Элефант (остров Мордвинова).

пуля просвистела мимо уха Чарли и вошла в стену. Он поднялся, разоружил гостя и положил оружие на каминную полку. Шеклтон был глубоко потрясен случившимся, извинился и пробормотал что-то насчет последней пули в патроннике. Чарли сел, но течение речи Шеклтону было неотделимо от его револьвера. Вторая пуля тоже прошла мимо, но попала в гравюру. Она продырявила паспарту в правом нижнем углу.

Жизнь бывшего консула между тем принимала новый оборот. Он встретил молодую шотландку по имени Изабель, которая без единого пенни в кармане приехала в Пунта-Аренас после работы на эстансии Санта-Крус. Чарли позаботился о ней и оплатил ей дорогу в Шотландию. Когда она уехала, он почувствовал себя одиноким. Они стали переписываться, и в одном из его писем было предложение о браке.

Белль вернулась обратно, и они поженились. К 1919 году Чарли подсчитал общую стоимость своего имущества — 30000 фунтов, достаточно, чтобы отойти от дел и обеспечить всех детей. Он продал «Фундисьон Милворд» французу по имени М.Лекорне и его партнеру сеньору Кортесу, договорившись отсрочить их платежи до тех пор, пока бизнес не оправится от послевоенного кризиса. Семья собрала вещи, переехала в Англию и купила «Вязы», усадьбу возле Пейтона.

Чарли Мореход, вернувшийся с моря — домой. Чарли-первопроходец, простившийся с извечной своей неспособностью к покою, бесцельно бродящий по саду, побеждающий на цветочной выставке в Таунтоне, стареющий рядом с молодой женой на лоне английской природы, занимающийся с сыном, играющий с дочерьми: одна обещает стать красавицей, другая — унаследовать его решительный характер... Я с грустью вынужден сообщить, что всей этой гармоничной, симметричной картине не суждено было сбыться.

Панаму уже разрезали каналом. Пунта-Аренас вновь покотился в никуда. Цены на шерсть упали. В Санта-Крус произошла революция. И литейный завод обанкротился.

Заручившись поддержкой двух или более «истинных британцев», затаивших злобу против Чарли, новые владельцы изъяли из дела все активы, наделали долгов, подписали чеки именем Милворда и сбежали.

Чарли был разорен.

Он поцеловал детей. Поцеловал Белль. Попрощался навеки с зелеными полями Англии. Купил билет до Пунта-Аренас: только туда, третий класс. Друзья, ехавшие в первом классе, увидели его, когда он печально глядел на море. Они предложили оплатить разницу, но он был горд. В этом путешествии игры на палубе не для него. Он предпочел укладываться на койку рядом с пастухами.

Белль продала «Вязы» и последовала за ним, и в течение шести лет они собирали обломки. Фотографии хранят образ сутулого старика в фетровой шляпе, с огромными усами и взглядом подранка. Он хромал туда-сюда по своему заводу, ворчал на рабочих и смеялся, когда они смеялись. Белль вела бухгалтерию; она будет заниматься этим около сорока лет. Если бы не ее бережливость, они бы разорились окончательно, а так, один за другим, они выплатили все долги.

Последняя фотография Чарли, которая у меня есть, датируется примерно 1928 годом: он сидит в своей башне у телескопа, стараясь разглядеть последние очертания парохода, отвозившего его сына в школу в Англию. Пока корабль уходил на восток и ночь постепенно поглощала его, Чарли произнес: «Больше я не увижу мальчишку».

В воскресенье я был в Пунта-Аренас и на заутреню пошел в церковь Святого Джеймса. Я сел на скамью Чарли, догадавшись, что это его скамья, по медному кольцу, ввинченному специально для его трости. Службу вел американский священник-баптист. Его проповедь подробно остановилась на технических трудностях сооружения моста Верразано, затем сменила курс на «Мосты к Господу» и закончила громовым возгласом: «Ты будешь сим Мостом!» Пастор предложил помолиться за Пиночета, но мы не совсем понимали, о чем именно следует молиться. Среди паствы был один старый шотландский пастух по имени Черный Боб Мак-Доналд, работавший на Рыжую Свиною. «Великий человек!» — сказал он.

Еще я встретил одну даму из Америки, орнитолога, которая изучала боевые навыки дарвиновых нанду. Два самца, рассказывала она, сцепляются шеями и начинают кружиться на месте: у кого раньше закружится голова, тот и проиграл.

Один англичанин предложил мне нанять самолет до Порвенира на Тьерра-дель-Фуэго и посетить старую ферму, принадлежавшую одному из современников Чарли.

Домик мистера Гоббса стоял на равнине между озером, где жили фламинго, и рукавом пролива. Он выглядел как охотничий домик джентльмена, обшитый досками, крашенный мягкой охрой, с белыми эркерами и терракотовой крышей. Белые вьющиеся розы перевешивались через изгородь, защищавшую маленький садик от ветра. Некоторые цветы, любимые англичанами, задержались здесь на долгие годы и после того, как англичан не стало.

После земельной реформы эта территория перешла к одной вдове из Югославии. Она поселила здесь пеона и оставила домик разваливаться. Но еще были на месте полы из желтой горной сосны, и изгибающиеся перила, и обрывки обоев Уильяма Морриса¹ еще держались на верхней лестничной площадке.

Судя по фотографиям, мистер Гоббс был крепким человеком с волнистыми волосами и открытым розовощеким английским лицом. Он называл свою ферму «Джете Гранде», «Большие люди», в честь индейцев она, которые охотились здесь, когда он приехал. Даже теперь ферма сохраняла следы его пристрастия к изяществу в ремесле — собачьи будки, овечьи загородки с флеронами, даже свинарники, выкрашенные в тот же цвет, что и дом. Думаю, здесь мало что изменилось с тех пор, как Чарли посетил этот дом в 1900 году.

¹ **Уильям Моррис** (1834–1896) — английский художник, основатель «Движения искусств и ремесел», первого направления в дизайне. Моррис и его единомышленники стремились нести красоту в повседневную жизнь, делая бытовые предметы произведениями искусства. Проектировали мебель, интерьеры, постройки и т.п.

Месяцем раньше чилийский военный корабль «Эррасурис» патрулировал северное побережье Тьерра-дель-Фуэго и отправил туда шлюпку с командой. Двое матросов, отделившиеся от остальных, были убиты и скальпированы индейцами.

Поисковую группу выслали на следующее утро, но прошло несколько дней, прежде чем она нашла их обезображенные останки. Капитан отправил вооруженный отряд, чтобы наказать убийц, но индейцы она, зная, что их ожидает, удрали в горы.

— Скажите мне, Гоббс, — спросил Чарли, — что вы думаете делать с индейцами? Они уже убили двух матросов и теперь забудут всякую меру. Пострадает кто-нибудь еще. Ваш дом удобно расположен, ваша жена, дети и няньки, слуги — все вы, думаю, должны ожидать их скорого визита.

— Я и сам не очень-то знаю, — отвечал Гоббс. — В наши дни правительство прямо звереет, стоит убить индейца даже ради самообороны. Придется подождать и посмотреть, что можно сделать.

Чарли вернулся на остров несколько месяцев спустя, и Гоббс пригласил его взглянуть на свиней, недавно закупленных в Англии. Над свинарником красовался еще довольно свежий человеческий череп.

— Помните, индейцы убили людей с «Эррасурис»? — спросил Гоббс.

— Да, я даже спросил вас тогда, что вы собираетесь делать.

— Я сказал: поживем — увидим. И теперь все сделано, и вот результат.

Чарли упрашивал его рассказать, как было дело, но тот словно язык проглотил. На третий вечер, когда оба сидели после ужина в курительной, Гоббс неожиданно сказал:

— Вы спрашивали об индейцах. Рассказывать, в общем-то, не о чем. Они стали подходить к дому. Сначала крали по одной овце, потом обнаглели и стали брать сразу по тридцать, то сорок. Потом один из моих пастухов еле

ушел от них, гнал лошадь галопом. Так что я решил, что уже пора что-то делать.

Я отправил нескольких лазутчиков выяснить, сколько их и где у них лагерь. Узнал, что их тринадцать человек, не считая женщин и детей. Как-то днем, когда их женщин не было в лагере, я собрал своих домашних индейцев, восемь человек, и говорю: «Едем охотиться на гуанако». Я вооружил их старыми ружьями и револьверами. Мы выехали целой толпой, но постепенно я стал отсылать людей одного за другим, и когда мы подъехали к лагерю она, в нашей группе оставались только индейцы, я и еще один человек.

Мы увидели лагерь она, и я попросил своих домашних индейцев спросить у диких, где находятся гуанако. Но те, как только увидели моих людей с ружьями, — давай пускать свои стрелы! Домашние индейцы, встреченные таким манером, ответили огнем и застрелили одного. После этого им, конечно, пришлось убить и остальных. Всех диких индейцев перебили, а среди них и того, кто убил матросов с «Эррасурис». Это его череп висит над свинарником.

Я в нашем округе за мирового судью, так что надо было послать донесение правительству. Я написал, что домашние индейцы вступили в бой с дикими, было несколько жертв, в частности, погиб один разыскиваемый за убийство».

Пилот познакомил меня с одним югославом, который зафрахтовал самолет до острова Даусон. Он взял меня с собой. Я хотел посмотреть на концентрационный лагерь, где сидят министры правительства Альенде, но солдаты не разрешили мне выйти из самолета.

У Чарли есть история о тюрьме, которая была на острове до лагеря.

«Отцы-салезианцы основали миссию на острове Даусон и попросили чилийское правительство отправлять к ним каждого пойманного индейца. Вскоре отцы собрали у себя великое множество индейцев и стали обучать их основам цивилизации. Индейцам это совершенно не подходило, и хотя здесь у них была еда и крыша над головой, они тосковали по старой кочевой жизни.

К тому времени, о котором идет речь, эпидемии сократили число индейцев человек до сорока. С ними было много хлопот: побег, мятежи, отказы от работы. Потом они вдруг стали тихими и покорными. Эта перемена не ускользнула от внимания преподобных отцов, которые заметили, что по утрам индейцы всегда приходят усталыми и засыпают в рабочие часы. Отцы решили не спускаться с них глаз и выяснили, что индейцы уходят в лес после того, как их вечером разведут по хижинам. Их попытались выследить в лесу, но индеец всегда знает, когда его выслеживают, и в таких случаях они просто бродили часами по лесу, а потом возвращались в миссию.

Так продолжалось несколько месяцев, и отцы не могли разгадать эту тайну. Наконец один из них, возвращаясь домой с отдаленной части острова, заблудился. Когда наступила ночь, он прилег отдохнуть и за деревьями услышал голоса. Он подполз ближе и понял, что нашел место,

где пропадают индейцы. Он пролежал там всю ночь, а когда индейцы отправились на дневные работы, вышел из укрытия и нашел заваленное ветками, прекрасно сделанное каноэ, выбитое из цельного ствола. Борта они обтесали так тонко, что каноэ было легко нести, несмотря даже на его огромные размеры. Индейцы подтаскивали его к берегу, находившемуся в четырехстах ярдах, и преподобный отец увидел, что они расчистили дорогу почти до самой воды.

Он вернулся в миссию с новостями. Отцы собрались на военный совет и решили быть начеку и время от времени навещать каноэ, чтобы знать, как продвигается дело. Дни шли за днями, и ничего не подозревавшие индейцы все тащили свое судно к берегу. Это оказалось делом небыстрым: летние ночи коротки, и каждую ночь индейцы продвигались лишь на несколько ярдов вперед.

Отцы догадались, что индейцы подождут до Рождества, потому что тогда им обещали по лишней порции еды. И пока дикари наслаждались рождественскими празднованиями в миссии, отец-настоятель послал двух человек с пилой и газетами. Они надпилили каноэ посередине, подстелив газеты, чтобы собрать опилки, — тогда бедные животные ничего не заподозрят, пока не погрузятся.

Наконец после долгих месяцев ожидания настала великая ночь. Все собрались вокруг каноэ, стали спускать его на воду — и оно распалось на две части.

Из всех скверных шуток над этими бедными индейцами, о которых мне доводилось слышать, эта — самая скверная. Обнаружить, что их каноэ бесполезно, когда они надеялись, что оно унесет их прочь из ненавистной тюрьмы! Было бы не так мерзко, если бы отцы просто уничтожили каноэ сразу, как нашли. Но они дали пленникам работать до тех пор, пока каноэ не загрузят и не спустят на воду, — вот потрясшая меня бездна бессердечия.

Я спросил, что сделали тогда индейцы. Мне сказали, что они вернулись в свои хижины как ни в чем не бывало».

В Патагонии у меня оставалось еще одно дело: надо было найти замену утраченному кусочку шкуры.

Городок Пуэрто-Наталес утопал в солнечном свете, но розовые облака уже собирались на той стороне пролива Последней Надежды. Крыши домов были изъедены ржавчиной и грохотали на ветру. Кисти рябины горели красным огнем, от этого листва казалась черной. Все сады заросли дикой петрушкой и щавелем.

Капли дождя зашлепали по асфальту. Старухи — черные пятнышки, рассеянные по широкой улице, — затопились под крышу. Я нырнул в магазинчик, где пахло кошками и морем. Хозяйка вязала носки из промасленной шерсти, кругом лежали связки копченых мидий, кочаны капусты, кирпичики высушенного морского салата и пучки водорослей, свернувшиеся, как тубы.

С тех пор как здесь открылся мясокомбинат, Пуэрто-Наталес стал красным городом. Мясозаготовочные цеха, построенные англичанами во время Первой мировой войны, растянулись на четыре мили вдоль того берега бухты, у которого дно было самое глубокое. Они построили узкоколейку, чтобы доставлять людей на работу, а когда производство сократилось, горожане покрасили паровоз и установили его на площади — довольно двусмысленный памятник тому времени.

Забойный сезон продолжался три месяца. Это было первое столкновение чилотов с механизированным убийством. Похоже на ад в их представлении: так много крови, пол алеет и дымится, так много животных, которые брыкаются, а потом застывают, так много белокожих туш и вырванных внутренностей, всех этих рубцов, мозгов, сердец, печенок, легких, языков. От этого люди чуть-чуть сходили с ума.

В 1919 году во время забойного сезона из Пунта-Аренас приехали несколько максималистов. Они рассказали о том, как русские братья перебили управляющих и зажили счастливо. Как-то в январе помощник управляющего, англичанин, нанял двух человек красить стены, а платить отказался, потому что работа была сделана плохо. В тот же день они выстрелили ему в грудь, а вскоре и все остальные совершенно обезумели. Они захватили узкоколейку, приказали машинисту поддать пару, но поддавать было нечего, и машиниста тоже застрелили. Они линчевали трех карабинеров и стали грабить магазины и поджигать их.

Губернатор Магелланова пролива выслал корабль с войсками и судьей. Они арестовали двадцать восемь зачинщиков, и работа на мясозаготовках пошла, как и прежде, до приезда максималистов.

В отеле «Колониаль» я спросил жену хозяина об этом восстании.

— Это было слишком давно, — сказала она.

— Тогда скажите, вы не помните человека по имени Антонио Сото? Он возглавлял забастовку в Аргентине, но раньше работал здесь, в «Сине либертад».

— Сото? Я не знаю такого имени. Сото? Нет. Вы имеете в виду Хосе Масиаса. Он участвовал в той забастовке. Ну да, он был среди главных.

— И он живет здесь?

— Он жил здесь.

— А я могу его найти?

— Только что застрелился.

Хосе Масиас застрелился у себя в парикмахерской, сидя перед зеркалом в собственном кресле.

Последней его видела в живых одна школьница. Она шагала в черном платье с широким белым воротником в восемь тридцать утра по calle Бори, ее тень спешила следом по рифленным фронтонам. Она посмотрела на окна дома, покрашенного в особенно холодный, арктический голубой цвет, и увидела — как видела каждое утро — парикмахера, который подглядывал за ней из-за белой шторы. Содрогнувшись, она ускорила шаги.

В полдень кухарка парикмахера Кончита Марин вышла из своего дома в отдаленном убогом районе и пошла по calle Бакеано покупать хозяину обед. Она купила овощи в магазинчике на углу и, зайдя в ресторан «Роза де Франсиа», купила еще два empanadas¹ для себя. Увидев, что белая штора опущена, она сразу поняла, что что-то не так.

Парикмахер был человек неизменных привычек, он бы предупредил ее, если бы собирался уйти. Она постучала, но уже знала, что никто не ответит. Она зашла к соседям, но те сказали, что тоже не видели парикмахера.

Кончита Марин поставила корзину на землю. Она продралась через изгородь, подняла сломанную щеколду кухонного окна и забралась в дом.

Взяв старый винчестер, парикмахер прострелил себе правый висок. Рефлексы еще продолжали действовать, и он выстрелил во второй раз, но промахнулся и попал в календарь с изображением здешнего ледника. Кресло развернулось влево, и тело рухнуло на пол. Остекленевшие рыбы глаза смотрели в потолок. Кровавая лужа растеклась на го-

¹ *Empanada* — кулебяка (исп.).

лубом линолеуме. Кровь запеклась на жестких, как у индейцев, волосах.

Масиас подготовился к смерти со своей всегдашней педантичностью. Он побрился и подровнял усы, выпил мате, а зеленую гущу выбросил в мусорное ведро. Он отполировал ботинки и надел свой лучший костюм из Буэнос-Айреса, шерстяной в полоску.

Передняя комната была белой и пустой. По сторонам зеркала стояли два шкафчика из светлого дерева с бриллиантинами и помадами для волос. На полке над раковиной он расставил бритвенные кисточки, ножницы и бритвы. Два одеколона были поставлены друг против друга, наконечниками внутрь, красными резиновыми грушами наружу.

Ударная волна выстрела нарушила симметричность его последней композиции.

Масиас пользовался репутацией человека прижизненного, но безупречно честного в делах. Завещания после него не осталось, а денег осталось очень мало, хотя он владел тремя домами, которые сдавал жильцам; у жильцов претензий к домохозяйину не было. Он беспокоился о своем здоровье, был убежденным вегетарианцем, пил травяные настои. Он рано вставал и имел привычку убирать улицу до появления прохожих. Соседи называли его *El Argentino* — за его отчужденность, четкий силуэт его костюмов, пристрастие к мате и за утонченную пылкость, некогда присутствующую его танго.

Он был родом с юга Чилоэ, но уехал с острова в детстве и пристроился учеником в артель стригальщиков овец, работавшую на эстансиях в Патагонии. Потом его закружила волна восстаний пеонов 1921 года, он, очевидно, был близок к лидерам и вместе с ними бежал в Чили. Осев в Пуэрто-Наталес, он стал парикмахером — это было похоже на стрижку овец, только повыше классом, — женился, у него родилась дочь, но жена ушла от него с механиком-двоеженцем из Вальпараисо. С течением времени он отрекся от революции и присоединился к «Свидетелям Иеговы».

Он застрелился в понедельник. В воскресенье люди видели, как он выезжает из города на велосипеде, — говорили, что для здоровья: старик в хлопающем плаще, пригнувшись от ветра, зигзагами, улица за улицей, а потом из города вдоль бухты, пока необъятная даль не поглотит его.

У горожан было три основных версии этого самоубийства: то ли после прихода хунты к власти он не смог больше сопротивляться своей мании преследования, то ли вычислил по своим книгам, что конец света наступит в воскресенье, и убил себя в понедельник утром, когда спало напряжение от ожидания. Третья теория апеллировала к атеросклерозу. Нашлись люди, которые слышали, как он говорит: «Я прикончу его прежде, чем он прикончит меня».

Кончита Марин была беззаботной, живой, полногрудой женщиной, с двумя сыновьями и без мужа. Ее любовники носили свитера с приставшими рыбными чешуйками и приходили к ней прямо с моря. В то утро, когда я зашел к ней, на ней был розовый джемпер, позвякивающие сережки и рекордное количество зеленых теней для глаз. Несколько пластиковых бигудей пытались навести порядок в ее спутанных черных волосах.

Да, она хорошо относилась к парикмахеру. Он всегда был такой сдержанный и корректный. А еще — очень странный! Интеллектуал, сказала она.

— Представьте, он мог лежать в своем саду и смотреть на звезды.

Она указала на рисунок цветными карандашами.

— Сеньор Масиас сделал этот рисунок для меня. Вот солнце. Красное. Вот луна. Желтая. Вот земля. Зеленая. А это знаменитая комета...

Она указала на оранжевую полосу, которая вырастала из верхнего угла листка.

— Дайте я прочту, что там говорится. Cometa... Ко... hou... tek... Ну вот, сеньор Масиас сказал, что эту штуку пошлет на нас Бог, чтобы убить нас за наши грехи. Но потом комета улетела.

- У него были какие-нибудь политические связи?
- Он был социалистом. Я думаю, он был социалистом.
- У него были друзья среди социалистов?
- Никаких друзей. Он читал социалистические книги. Много книг! Он читал их мне на кухне. Но я не понимала.
- Какие книги?
- Не могу вспомнить. Я не могла слушать, когда он читал. Но я помню одно имя... Пстой! Знаменитый писатель. Писатель с севера. Очень социалистический!
- Бывший президент Альенде?
- Нет. Нет. Нет. Сеньор Масиас совсем не любил этого сеньора Альенде. Говорил, что это *maricón*¹. Он сказал все правительство *maricónes*. *Maricónes* в правительстве! Подумать только! Нет. У этого писателя имя было на М... Маркс! Мог это быть Маркс?
- Да, мог быть Маркс.
- Это был Маркс. Вуено, сеньор Масиас говорил, что все, что сеньор Маркс написал в своей книге, было правдой, но другие изменили то, что он написал. Он говорил, это было искажение, искажение правды.

Кончита Марин была очень довольна, что вспомнила имя сеньора Маркса.

— Вы хотели бы посмотреть на завещание сеньора Масиаса? — спросила она и вынула цветную гравюру длинношерстной таксы, которую парикмахер озаглавил так: «Единственный друг человека (тот, кто не держит на него никакого зла)». На другой стороне я прочел следующее:

Истинные миссионеры получают истинную власть и силу апостола Павла.

Нет социологии без спасения.

Нет политической экономии без евангелиста.

Нет реформ без очищения.

¹ *Maricón* — педераст (исп.).

Нет культуры без обращения.

Нет прогресса без прощения.

Нет социального порядка без нового рождения.

Нет никакой новой организации без Нового Творения.

Нет демократии без Божественного Слова.

НЕТ ЦИВИЛИЗАЦИИ БЕЗ ХРИСТА.

**А МЫ ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ, ЧТО ПРИКАЖЕТ НАМ НАШ
ГОСПОДЬ.**

(согласно явному Его желанию?)

Да, сказала Кончита Марин, парикмахер был болен, очень болен. У него был атеросклероз. Но была у него еще какая-то тяжесть на сердце. Нет, он никогда не говорил о забастовке в Аргентине. Он был очень сдержан. Но иногда она задумывалась о шраме у него на шее внизу. Пуля, сказала она. Должно быть, прошла насквозь. Представляешь? Он всегда его прятал. Всегда носил твердый воротник и галстук. Она видела шрам лишь однажды, когда сеньор был болен, да и то он пытался прикрыть его.

Дочь парикмахера Эльза была высохшая старая дева с тусклой кожей и редкими волосами, которая жила в двухкомнатном доме, выкрашенном в цвет подсолнуха, и зарабатывала на жизнь шитьем. В этом году она видела отца только однажды и вот уже два года не разговаривала с ним. В молодости, сказала она, он был настоящим авантюристом. «*Sí Señor, muy pícaro*»¹. Она помнила, что когда была маленькой, он играл на гитаре.

— Но это все были печальные песни. Он был печальным человеком, мой отец. Он был необразованный и грустил, оттого что не учился. Он читал много книг, но не понимал их. — И со взглядом, в котором, казалось, уместились не только ее страдания, но и его тоже, она назвала отца «*Infeliz*»².

¹ *Sí Señor, muy pícaro* — Да, сеньор, такой плут (исп.).

² *Infeliz* — несчастный (исп.).

Она показала мне фотографию человека с копной зачесанных черных волос, с заостренными тоской чертами лица и с огромными глазами. Он был в своем костюме из Буэнос-Айреса, с высоким крахмальным воротником и галстуком-бабочкой. Когда я спросил ее о шраме, она очень смутилась:

— Как она могла вам такое рассказать?

Фармацевт на площади был его старым клиентом. Он свел меня с пеоном, который знал парикмахера во время аргентинской забастовки. Этот старик жил у вдовы, которая держала кафе-мороженое. Его глаза были затуманены катарактой, голубые вены выпирали на веках. Руки были узловатыми от артрита, и он сидел, съжившись у печки. Его покровительница смотрела на меня с недоверием. Руки у нее были розовые по локоть, в смеси, из которой делают мороженое.

Сначала старик разговаривал довольно охотно. Он был вместе с забастовщиками, которые сдались при Виньяс-Ибарра в Рио-Койле.

— Солдатам разрешили стрелять на поражение, — сказал он с убежденностью, как будто ничего другого и не следовало ждать от солдат. Но когда я спросил его о лидерах и упомянул Масиаса, он стал невменяем.

— Предатели! — захлебнулся он. — Барные стойки! Парикмахеры! Акробаты! Артисты. — И начал кашлять и сопеть, а женщина смыла с рук розовую смесь, подошла к нему и похлопала по спине.

— Прошу вас, сеньор, вам стоит уйти. Он очень стар. Вам лучше его не беспокоить.

Может быть, у Хосе Масиаса и не было друзей, но у него были клиенты, с которыми он разговаривал. Один из них Баутиста Диас Лоу. Оба были одного возраста. Оба из одних мест на Чилоэ. Они могли вспоминать Чилоэ, когда уставали поражать друг друга какими-нибудь невероятными фактами.

Предками Баутисты были испанцы, индейцы, англичане. Род его матери шел от капитана Уильяма Лоу, командира капера и охотника на тюленей, проведшего Фиц-

роя и Дарвина по canales. Его праправнук был невысоким крепким человеком с удивленной улыбкой, стальным телом и «упертостью», которую он сам приписывал sangre británica¹.

Семьдесят лет кулачных боев расплющили ему нос. Он все еще мог перепить любого, разглагольствуя о своей теории высшего суда и рассказывая еще более масштабные истории о своей жизни. Но фотографии доказывали, что в возрасте шестнадцати лет он действительно укротил неукротимого жеребца; что он действительно был борцом-чемпионом и главарем забастовок; что он рассорился с профсоюзными ворами и смог избежать их покушений на свою жизнь, в ходе чего и разработал теорию о том, что стоит тебе убить — или даже задумать убить кого-то, — ты уже проклят.

— Единственное законное оружие — это кулак. Ха! Все, кто злоумышлял против меня, сейчас в могиле. Бог правду видит.

Враг и капиталистов, и рабочих, он переселился на далекий берег пролива Последней Надежды и стал прорубать место для своей эстансии в окружающей дикости. Там я и нашел его в домике с голубой дранкой, который он построил своими руками. И всю ночь мы пили и смеялись на эксцентричной изумрудно-зеленой кухне с двумя пеонами и охотником на тюленей.

Каждые две недели Баутиста отправлялся на своем красном катере в Пуэрто-Наталес запастись провизией и провести ночь-другую с женой, которая предпочла жить на некотором расстоянии от этой бурной природы и осталась в городе — кормить пятерых сыновей.

— Пятеро сыновей-пьянчуг! ¡Qué barbaridad! Что я сделал, за что мне достались пятеро сыновей-пьянчуг? Их мать говорит, что они работают, а я говорю: они пьют!

Я спросил Баутисту о самоубийстве парикмахера. Он стукнул кулаком по столу.

¹ Sangre británica — британская кровь (исп.).

— Хосе Масиас читал Библию, а Библия — это книга, которая сводит человека с ума. Вопрос в другом: что заставило его читать Библию?

Я рассказал ему то, что знал о роли Масиаса в забастовке, и о шраме, которого тот явно стыдился. Я рассказал, как лидеры восстания бежали, оставив своих людей на милость карательных отрядов, и предположил, что с этим было как-то связано и его пулевое ранение в шею.

Баутиста выслушал меня со всем вниманием и сказал:

— Я полагаю, Масиас покончил с собой из-за женщин. Этот человек был невероятно распутен, даже в таком возрасте. И ревнив! Он никогда не разрешал своим женщинам ни с кем разговаривать. Даже с другими женщинами. И, конечно, они все покинули его, потому у него и началась эта религиозная мания. Но забавно, что вы упомянули про эту забастовку. Я встречал людей, которые прошли через нее. Их всех мучили какие-то призраки. Возможно, старик Масиас застрелился, считая, что этим отдает долг.

Я вернулся в Пуэрто-Наталес и проверил то, что уже знал и так: прежде чем застрелиться, Хосе Масиас расстегнул свою крахмальную манишку и обнажил шею перед зеркалом.

89

В баре отеля «Колониаль» школьный учитель и старый пастух пили за обедом свой бренди и шепотом ругали хунту. Пастух хорошо знал Милодонову пещеру. Он посоветовал мне сперва навестить сеньора Эберхарда: его дед открыл это место.

Я вышел из города и прошелся вдоль бухты по направлению к дымовым трубам мясокомбината. Пришвартованные у берега красные одномачтовые рыбацкие лодки мотались туда-сюда. Какой-то человек грузил водоросли на телегу. Посмотрев на меня, он вяло сделал такой жест, будто увидел сумасшедшего. Потом остановился грузовик и подвез меня часть пути.

Было уже поздно, когда я добрался до Пуэрто-Консуэло. Целая флотилия гигантских белых уток плавала у берега. Щипцы большого немецкого дома показались над посадками сосен, но ставни были закрыты, а двери заколочены. И почти сразу я услышал, как заработал генератор, и увидел свет в полумиле от себя.

Когда я вошел во двор, залаяли восточноевропейские овчарки; я порадовался, что они на цепи. Высокий человек с орлиным лицом, седыми волосами и манерами аристократа подошел к двери. Я стал толковать ему, нервно и по-испански, про Чарли Милворда и гигантского ленивца.

— Так, — сказал он по-английски, — вы из семьи грабителя. Входите.

Он провел меня в полупустой белый немецкий дом, построенный в 1920-е годы, в котором стояли столы со стеклянными крышками и трубчатые металлические стулья Миса ван дер Роэ¹. За ужином он рассказал мне о своем

¹ Людвиг Мис ван дер Роэ (1886–1969) — выдающийся архитектор. лидер функционализма. в молодости работал в рамках направления «баухауз». «Визитной карточкой» этого стиля стали кресла, стулья и табуреты из плавно изогнутых стальных трубок.

дедушке, и мы наконец соединили разрозненные части этой истории.

Герман Эберхард был хорошо развитым юношей с огромной жаждой жизни. Его отец был полковником в прусской армии, который уехал из Ротенберг-об-дер-Таубер служить курфюрсту, а сына отправил в военную академию, откуда тот в одно прекрасное летнее утро просто сбежал. Молодой человек заявил, что идет купаться на реку, оставил на берегу приготовленную для этого одежду и пропал на пять лет, отправившись сначала на свиноферму в Небраску, потом на китобойную станцию на Алеутских островах, а потом в Пекин.

В Пекине его взяли германские военные власти и по морю отправили домой. Отец добился, чтобы судьей на трибунале назначили его самого, и приговорил сына к двадцати годам каторжных работ за дезертирство. Друзья Германа подали апелляцию, где говорилось о пристрастности отца. Срок удалось уменьшить до восемнадцати месяцев — столько Герман и отсидел.

Он навсегда уехал из Германии и отправился на Фолкленды, где работал лоцманом. Однажды британское посольство в Буэнос-Айресе предложило ему провести яхту «Марчеса», принадлежавшую графу Дадли, по canales в Вальпараисо. Эберхард, не придававший особенного значения деньгам, ответил, что рад будет сделать это за обычную цену, но когда он сходил с яхты, лорд Дадли вложил ему в руку конверт и велел не вскрывать его сразу. В конверте оказался чек на тысячу фунтов: в те дни лорды были лордами.

Сумма была слишком велика, чтобы просто так ее растратить, и Эберхард стал разводить овец. В 1893 году в поисках новых пастбищ он дошел на веслах до пролива Последней Надежды в компании двух дезертиров с английского флота, а вернувшись в Пуэрто-Консуэло, заметил: «Там есть чем заняться».

В феврале 1895 года Эберхард обследовал пещеру, которая зияла в горе на краю поселения. Вместе с ним туда отправились его шурин Эрнст фон Хейнц, некий мистер Гриншильд, швед по прозвищу Клондайк Ханс и собака. Они нашли человеческий череп и обрывок большой шкуры, прилипший к полу. Одну сторону обрывка покрывала жесткая щетина и инкрустация из соляных крупиц, в другую впечатались маленькие белые хрящики. Мистер Гриншильд сказал, что это коровья шкура, к которой прилипли камешки. Эберхард сказал, что коров здесь нет, и решил, что это шкура неизвестного морского млекопитающего. Он повесил ее на дерево и предоставил дождям отмывать шкуру от соли.

Год спустя шведский исследователь д-р Отто Норденскёлд посетил пещеру и нашел там еще один обрывок шкуры — а может быть, отрезал немного от обрывка Эберхарда. Еще он нашел обломок черепа огромного млекопитающего, коготь, человеческую бедренную кость гигантских размеров и какие-то каменные орудия. Он отослал все это доктору Эйнару Лённбергу из Упсальского музея, который был восхищен и заинтригован, но не отважился опубликовать отчет о находках без дополнительной информации.

Слухи о чем-то необычном в Пуэрто-Консуэло привлекли д-ра Франсиско Морено из музея в Ла-Плате. Он приехал в ноябре 1897 года и не обнаружил ничего достойного внимания, кроме шкуры Эберхарда, которая все еще висела на дереве, став, правда, вдвое меньше. Немец отдал ему шкуру, он упаковал ее и отправил в Ла-Плату вместе с другими материалами своих путешествий.

Через месяц после прибытия ящика Флорентино Амегино, коллега и противник Морено, глава южноамериканских палеонтологов, опубликовал сенсационный доклад «Предварительные заметки о *Myloodon listai*, живом представителе аргентинских ископаемых неполнозубых тихоходов (*Gravigrade edentates*)».

Но прежде об истории вопроса.

91

Милодон — это гигантский ленивец, размером чуть больше быка, обитавший только в Южной Америке. В 1789 году доктор Бартоломе де Муньюс отослал из Буэнос-Айреса кости его еще более внушительного сородича, мегатерия, в коллекцию испанского короля в Мадриде. Король потребовал доставить еще один экземпляр — живым или мертвым.

Этот скелет поразил всех натуралистов поколения Кювье. Гете описал его в эссе, которое, как выяснилось впоследствии, предвосхитило теорию эволюции. Зоологи должны были воссоздать образ допотопного млекопитающего ростом в пятнадцать футов, увеличенную копию самого обычного ленивца, который висит на дереве вниз головой и питается насекомыми. Кювье дал ему имя мегатерия и предположил, что природе захотелось развлечься «чем-нибудь гротескным и несовершенным».

Дарвин обнаружил кости милодона рядом со своими «девятью великими четвероногими» на берегу Пунта-Альта у Баия-Бланки и отправил их Ричарду Оуэну в Королевский хирургический колледж. Гигантские ленивцы, висающие на гигантских деревьях в допотопные времена, показались Оуэну смехотворными. Он реконструировал *Mylodon darwini* в виде громоздкого животного, которое приподнимается на ляжках, используя ноги и хвост как три точки опоры, и вместо того чтобы лазать по деревьям, когтями пригибает их к себе. У его милодона был длинный гибкий язык, как у жирафа, чтобы загребать листву и личинки.

На протяжении всего XIX века в ущельях Патагонии продолжали находить кости милодона. Ученых удивляли бесчисленные обломки других костей, которые обнару-

живались рядом со скелетами, до тех пор пока Амегино не распознал в них — и совершенно правильно — пластинки брони, похожие на щитки армадилла.

Но как ни странно, однажды животные ископаемые, существующее и воображаемое, умудрились совпасть. Легенды индейцев и рассказы путешественников убедили кое-кого из зоологов, что некое крупное млекопитающее пережило все катастрофы ледникового периода и осталось жить в Южных Альпах. Претендентов было пять.

А. Йемиш — разновидность вампира.

В. Су, или Суккурат, о котором стало известно еще в 1558 году, обитающий на берегах патагонских рек. У этого животного была львиная голова, «в которой было что-то человеческое», короткая борода от уха до уха и хвост, вооруженный колючими иглами, чтобы защищать детенышей. Оно охотилось, но не только ради мяса: оно добывало шкуры, чтобы не мерзнуть в холодном климате.

С. Якуару, или «водяной тигр», которого часто путают с Су. В XVIII веке английский иезуит Томас Фолкнер видел его в реке Парана. Это было злобное существо, которое водилось в водоворотах, и когда оно съедало корову, на поверхность всплывали внутренности (вероятно, это был кайман). «Водяные тигры» упоминаются в мемуарах Джорджа Чаворта Мустерса «В гостях у патагонцев»; автор описывает, как его проводник, индеец-теуэльче, отказался пересекать Рио-Сенгуэр из страха перед «желтым четвероногим, которое больше пумы».

Д. Эленгассен, чудовище, которое описал доктору Морено патагонский касик в 1879 году. У него была человеческая голова и броня, как у черепахи, и оно забивало камнями тех, кто приближался к его логову. Единственный способ убить его — это поразить в щель на животе.

Е. Пятое и наиболее убедительное сообщение о представителе необычной фауны — сообщение об огромном животном, «напоминающем огромного ящера»; в него в конце 1880-х стрелял Рамон Листа, тогдашний губернатор Санта-Крус.

Такова была предыстория брошюры Флорентино Амегино. Годами — говорил он журналистам — его брат Карлос слушал, как индейцы рассказывают о Йемише. Вначале они предположили, что это очередной ужасный миф аборигенов, обычный продукт их бессвязной теологии. Но теперь у них появилось новое поразительное свидетельство, позволяющее поверить, что это живое млекопитающее.

В 1895 году, сказал он, индеец-теуэльче по имени Хомпен пытался пересечь Рио-Сенгуэр, но течение было слишком сильным, и лошадь отказалась идти в воду. Спешившись, Хомпен вошел в воду, чтобы убедить лошадь последовать за ним. Но лошадь негромко заржала, встала на дыбы и ускакала в пустыню. И тут же Хомпен увидел, что к нему приближается Йемиш.

Хладнокровно прицелившись, он метнул в него свои болас и bola perdida — «виды оружия, весьма эффективные в руках индейцев». Он связал его, содрал шкуру и сохранил небольшой кусочек для своего друга, белого путешественника.

Карлос послал этот кусок Флорентино. Тот, стоило ему потрогать шкуру и увидеть белые хрящики, сразу понял, что «Йемиш и допотопный милодон — одно и то же». Это открытие реабилитировало охотничью байку Рамона Листы, и Амегино переименовал животное в *Neomylodon listai* в память об убитом экс-губернаторе.

— А скелет? — спросил журналист.

— Мой брат сейчас занимается этим. Надеюсь, в скором времени я получу и скелет.

Нет, доктор Амегино не считает, что животное могло приплыть сюда из Антарктики на айсберге.

Да, он запросил министра по общественным работам о большой сумме денег для охоты на милодона.

Да, теуэльче охотились на милодонов, часто рыли на них ловушки, прикрытые листьями и ветками.

Нет, он не сомневается, что они поймают его. Несмотря на свою непробиваемую броню и агрессивные повадки, в конце концов он попадет в плен к человеку.

Нет, находки доктора Морено в пещере Эберхарда не произвели на него впечатления. Если д-р Морено знал, что обладает шкурой милодона, почему он не представил ее вниманию научной общественности?

Пресс-конференция Амегино стала еще одной международной сенсацией. Британский музей осаждал его просьбами отрезать хоть маленький кусочек. Немцы хотели получить фотографию мертвого животного. А в Аргентине зверя стали встречать повсюду. У одного эстансьеро на реке Парана «водяной тигр» утащил пеона, и он слышал, как трещат ветки и как животное уплывает — «Плюх... плюх... плюх...» — и ревет: «А-а-а... йу-у-у-у-у-у!»

Морено вернулся в Ла-Плату и отвез свой кусок шкуры в Лондон. Он отдал его на хранение в Британский музей, где она и остается. В своей лекции в Королевском научном обществе 17 января 1899 года Морено заявил, что он всегда знал, что это милодон, что это животное давно вымерло, а шкура сохранилась в таких же условиях, как перья моа в Новой Зеландии.

Доктор Артур Смит Вудворт, заведующий отделом палеонтологии, не вполне с ним согласился. Ему доводилось держать в руках перья моа. Кроме того, в Санкт-Петербурге он имел дело с останками шерстистого носорога Палласа и мамонта, сохранившегося в вечной мерзлоте в Якутии. По сравнению с ними, сказал он, шкура милодона была такой «поразительно свежей», а запекавшаяся кровь такой красной, что, не будь это доктор Морено, он бы «не колеблясь объявил, что это животное было только что убито».

Конечно, в Англии многие сомневались в необходимости поисковой экспедиции мистера Хескета Причарда, которую финансировала «Дейли экспресс». Причард не нашел ни следа милодона, но его книга «В сердце Патагонии», кажется, стала одним из источников «Затерянного мира» Конан Дойля.

Между тем два археолога вели раскопки в пещере. Швед Эрланд Норденскольд действовал методически. Он

обнаружил три археологических слоя: верхний содержал следы человеческого обитания, средний — кости вымерших животных, в частности «доисторической лошади», и только в нижнем слое имелись останки милодона.

Второй археолог, доктор Хауталь из Ла-Платы, был импрессионистом и мало разбирался в принципах стратиграфии. Он нашел прекрасно сохранившийся помет ленивца, перемешанный с листьями и травой, который покрывал пол пещеры слоем глубиной в метр. Еще он обнаружил каменную стену, выгораживавшую заднюю часть пещеры. Доктор Хауталь заявил, что это был загон для милодонов. Первобытные люди одомашнили милодонов и зимой содержали в загонах. Он сказал, что снова переименовывает животное: из *Neomylodon listai* в *Gryptotherium domesticum*.

Среди помощников Эрланда Норденскольда был немецкий золотодобытчик Альберт Конрад. Когда ушли археологи, он поселился в маленькой хижине у входа в пещеру и с помощью динамита разнес всю стратиграфию на куски. Чарли поднялся к нему на помощь и ушел от него с целыми ярами шкур и мешками костей и когтей, которые к тому времени стали ходким товаром. Он отправил коллекцию в Британский музей и после отчаянного торга с д-ром Артуром Смитом Вудвордом (считавшим, что Чарли хочет взвинтить цену, проведая, сколько дает Уолтер Ротшильд) продал ее за 400 фунтов.

Мои дедушка с бабушкой поженились примерно в это же время, и я думаю, что Чарли послал им маленький кусочек шкуры в качестве свадебного подарка.

Роль Амегино во всей этой истории более подозрительная. Он так и не предъявил куска шкуры, принесенного ему Хомпенем. Скорее всего, он пробрался в пещеру Морено, увидел шкуру Эберхарда и не посмел ее украсть. Очевидно одно: его брошюра стала не меньшей редкостью, чем животное, которое в ней описывается.

Современный вердикт, основанный на данных радиоуглеродного анализа, гласит, что милодон жил десять тысяч лет назад, никак не позже.

Утром я шел вместе с Эберхардом под проливным дождем. Он был в шинели на меху и сердито смотрел на ливень из-под казачьей папахи. Его любимый писатель, сказал он, — Свен Хеден, исследователь Монголии.

Монголия — Патагония, Ксанаду и Мореход.

Мы осмотрели разрушающиеся немецкие амбары. Эберхард потерял большую часть своих земель в этой реформе, но принял это со стоическим смирением. В молодости он был учеником в «Эксплотадоре».

— Прямо как в образцовом полку Британской армии. Каждое утро нам отдавали приказы на двух языках — никогда не угадаешь, на каких.

— Английский и испанский, — предположил я.

— Неверно.

— Английский и немецкий? — Я был озадачен.

— Попробуй еще раз.

— Испанский и...

— Неверно. Английский и валлийский. Главным управляющим «Эксплотадоры», — продолжал он, — был мистер Лесли Гриир. Тиран, абсолютный тиран. Но он был великодушным управляющим, и всегда было ясно, что ему от нас надо. Потом он сказал директорам «нет», и его уволили. Директора хотели людей, говорящих «да», и они их получили. И тогда они начали удивляться, почему падают доходы, и наняли специалистов. А у специалистов было высшее образование и все такое, и они принялись командовать управляющими. Те командовали свое, а специалисты командовали свое, и в конце концов все это чертово предприятие рухнуло под собственным же грузом.

Теперь я расскажу тебе дальше о мистере Гриире: возвращается он в британскую армию, идет обедать в свой

клуб, «Хурлингем» или что-то в таком роде. В зале все столики заняты. Тогда он спрашивает двух английских джентльменов: «Простите, я могу пообедать за вашим столом?» «Конечно», — говорит англичанин. «Я — Лесли Грир. Главный управляющий «Сосьедад Эксплоадора де Тьерра-Фуэго». «А я, — говорит этот англичанин, — Господь Бог. А это мой друг и коллега Иисус Христос».

Я спросил его о золотодобытчике Альберте Конраде.

— Я сам своими глазами видел Альберта Конрада. Да! Я помню, как в 1920 году он проходил здесь с мулами. А надо сказать, что Альберта Конрада недолюбливали в Чили, за то что продал милодона. Тогда он перешел границу и стал жить в Рио-де-лас-Вуэлтас. И вот он идет в Пунта-Аренас со своими мулами. А мой отец ему: «Эй! Альберт. Что это у тебя на этих мулах? Камни?» «Камни? Какие камни! — отвечает тот. — Золото». Но это были камни, обыкновенные камни.

В 1930-е годы один гаучо, проезжая мимо хижины Конрада по Рио-де-лас-Вуэлтас, услышал, как скрипит дверь на петлях. Мертвый немец лежал, уткнувшись в свой маузер. Он пролежал так всю зиму. Хижина ломилась от серых камней.

Я прошел четыре мили от Пуэрто-Консуэло до пещеры. Лил дождь, но солнце выглядывало из-за облаков и вспыхивало на кустах. В пещеру вел пролом в четыреста футов шириной, открывавший целую гору серых обломков. Обломки валялись по всему полу и громоздились у входа.

Внутри было сухо, как в пустыне. Космы белых сталактитов свисали с потолка, а стены блестели от соляных инкрустаций. Задняя стена была отполирована до блеска языками животных. Каменная перегородка, которая когда-то разделяла пещеру, обрушилась из-за трещины в своде. У входа было маленькое святилище Девы Марии.

Я пытался представить себе гигантских ленивцев в этой пещере, но не мог прогнать того клыкастого монстра, что являлся мне в затемненной спальне в Англии времен войны. Пол был покрыт навозом, навозом ленивца, огромными черными твердыми лепешками, в которых виднелась плохо переваренная трава, — казалось, гадил он тут не раньше, чем на прошлой неделе.

Я порылся в дырах от взрывов Альберта Конрада в поисках еще одного кусочка шкуры, но ничего не нашел.

«Ну что ж, — подумал я, — если нет шкуры, то по крайней мере полно дерьма».

А потом, расковыряв кусок стены, я обнаружил кло чья жесткой рыжеватой шерсти, такие знакомые. Я вынул их, положил в конверт и уселся — совершенно счастливый. А потом я услышал, как женские голоса поют: «Мария... Мария... Мария... Мария...»

Ну вот, теперь и я спятил.

Я выглянул из-за груды камней и увидел семь черных фигур, окруживших святилище.

Сестры из Санта-Мария-Ауксилиадора отправились в очередную удивительную экспедицию. Мать-настоятельница улыбнулась и спросила:

— Вам тут не страшно одному?

Я собирался ночевать в пещере, но теперь она не казалась мне достойным приютом, так что монахини подвезли меня до одной из старых эстансий «Эксплотадоры».

Он умирал. Веки распухли и так отяжелели, что ему приходилось напрягаться, чтобы не давать им падать и закрывать глаза. Нос стал тонким, как клюв, а дыхание взрывалось густым зловонием. От его кашля тошнило коридоры. Заслышав его приближение, люди уходили прочь.

Он достал из бумажника мятую фотографию: он в увольнительной, давным-давно, в пальмовом саду в Валь-параисо. Юноша с фотографии не имел ничего общего со стариком: нахальная улыбка, пиджак с осиной талией и оксфордские брюки¹, приглаженные черные волосы блестят на солнце.

Он двадцать лет проработал на эстансии, а теперь умирал. Он помнил мистера Сандерса, управляющего, который умер и был похоронен в море. Ему не нравился мистер Сандерс. Это был жестокий человек, деспотичный человек, но после него все пришло в упадок. При марксистах было плохо, а при хунте еще хуже. Он говорил быстро, бесвязно, между приступами кашля.

— Рабочим пришлось поплатиться за это марксистское движение, — бормотал он, — но думаю, это ненадолго.

Я оставил его умирать и отправился дальше, в Пунта-Аренас, чтобы успеть на корабль.

¹ Оксфордские брюки — широкие фланелевые брюки.

Отель «Резиденсиал Риц» располагался в белом бетонном строении в полумиле от клуба морских офицеров и пляжа. Управляющие гордились своими чистыми, без единого пятнышка, белыми камчатными скатертями.

В холле слонялся торговец дамским бельем из Сантьяго, ожидая пяти часов — конца комендантского часа. Если он выйдет раньше, патруль может и застрелить его. Он пришел на завтрак с полным карманом камешков. Стены в столовой были холодно-голубого цвета. Пол был покрыт голубой пластмассовой плиткой, и скатерти плыли над ним, словно льдины.

Торговец уселся, вывернул карманы и стал играть своими камешками, разговаривать с ними и смеяться. У пухлой курносой девушки-чилотки, работавшей на кухне, он заказал кофе и тост. Это был полный, нездоровый человек. Под затылком поднимались толстые складки. Он был одет в бежевый твидовый костюм и свитер ручной вязки с высоким воротником.

Он посмотрел в мою сторону и улыбнулся, открыв пару распухших розовых десен. Затем спрятал улыбку, опустил глаза и продолжал игры с камешками.

— Какой великолепный розовый оттенок был сегодня утром у облаков!

Он нарушил молчание внезапно, будто взрывом.

— Позвольте задать вам вопрос, сэр. Что есть причина этого феномена? Холодные восходы, я слышал.

— Возможно.

— Я бродил по пляжу и созерцал формы, которыми Творец украсил небеса. Я видел Огненную колесницу, которая стала изогнутой шеей лебедя. Как прекрасно! Рука Творца. Мы должны либо рисовать его творения, либо фо-

тографировать. Но я не художник и не располагаю фотоаппаратом.

Девушка принесла ему завтрак. Среди камешков он расчистил место для чашки и тарелки.

— Вы, вероятно, знакомы, сэр, — продолжил он, — немного с *la poesía mundial*?

— Немного знаком, — ответил я.

Его лоб сосредоточенно сморщился, и он стал декламировать медленные, тяжеловесные строфы. В конце каждой строфы он сжимал кулак и медленно опускал его на стол. Девушка с кофейником стояла рядом. Она поставила кофейник, спрятала лицо в фартук и со смехом убежала на кухню.

— Что это было?

— Не знаю.

— «Одиночество» Гонгоры², — сказал он и начал читать снова, стараясь выжать до последней капли эмоции из каждой строки, разводя руки в сторону и растопыривая пальцы:

A las cinco de la tarde.

*Eran las cinco en punto de la tarde*³...

— Лорка, — предположил я.

— Федерико Гарсиа Лорка, — прошептал он, как будто утомленный молитвой. — «Плач по Игнасио Санчесу Мехиасу». Вы мой друг. Я вижу, вам немного известна испанская литература. А вот это что?

Он задрал голову и прокричал еще несколько строк.

— Не знаю.

— Национальный гимн Венесуэлы.

Позже в тот же день я снова увидел его. Опустив плечи, под морозящим дождем он брел по улицам в черно-

¹ *La poesía mundial* — мировая поэзия (исп.).

² **Луис де Гонгора-и-Арготе** (1561–1627) — испанский поэт. Возглавлял течение, названное в Испании культуранизмом, а за пределами Испании гонгоризмом, — яркое выражение интернационального литературного направления, стремившегося к вычурности, изысканности и прециозности в поэзии.

³ В пять часов вечера. Было ровно пять часов вечера... (исп.)

белой клетчатой кепке и с чемоданом с образцами белья. Манекены в розовых корсетах и бюстгальтерах глядели из витрин пустыми пластмассовыми голубыми глазами. Все магазины белья принадлежали индейцам.

Стук его каучуковых подошв не давал мне спать ночью. Он вышел в пять, но я несколько раз слышал, как он возвращался. За завтраком я прошел мимо двери на кухню и увидел девушек, обессиленных от смеха.

Он стоял среди скатертей, его небритое лицо застыло в бессильной улыбке. На каждом столе, за каждым местом были разложены камешки.

— Это мои друзья, — сказал он хриплым, прочувствованным голосом. — Посмотрите! Вот кит. Это чудо! Свидетельство Божьего гения! Кит с гарпуном в боку. Вот рот, а вот хвост.

— А это?

— Голова доисторического животного. А это обезьяна.

— А это?

— Другое доисторическое животное, возможно, динозавр. А это, — он указал на желтый камень, весь в выбоинах, — голова первобытного человека. Глаза. Видите? Нос. И челюсть, вот здесь. Посмотрите, даже низкий лоб, признак низкого интеллекта.

— Да, — сказал я.

— А это, — он выбрал круглую серую гальку, — это моя любимица. Если сверху вниз смотреть, то дельфин. А если перевернуть — Дева Мария. Печать Господа на смиренном камне.

Управляющему отеля «Риц» не нравилось, когда его будили до девяти. Но другие клиенты хотели завтракать, и надо было убрать камни. Позже я зашел занести кое-какие вещи к себе в комнату. Его забрали в больницу.

— Es loco, — сказал управляющий. — Он сумасшедший.

В Пунта-Аренас живет один человек, видит во сне сосновые леса, напевает *Lieder*¹, просыпается каждое утро и смотрит на черный залив. Он едет в машине на фабрику, и фабрика пахнет морем. Вокруг него алые крабы, сначала ползут, потом дымятся. Он слышит, как трещат их панцири и ломаются клешни, видит их сладкое белое мясо, которое укладывают в прочные металлические банки. Он человек умелый, с некоторым опытом работы на конвейере. Помнит ли он другой запах? И другой звук, звук тихих поющих голосов?

Вальтер Рауф — изобретатель газовой камеры.

¹ *Lieder* — песни (нем.).

Через неделю ожидания мы услышали гудок корабля, долетавший из-за гимназии (бетонная копия Парфенона), а внизу, в доках, увидели грузчиков, которые наконец начали таскать корзины, а не привычно бездельничали у здания пароходной компании, — плоские черные кепки вдоль розовой стены. Всю неделю кассир только пожимал плечами, когда мы спрашивали, где корабль, пожимал плечами и ковырял жировик на лбу: что до него, то корабль мог хоть под землю провалиться. Но теперь он торопливо что-то писал на наших билетах, ругался, жестикулировал и изрыгал распоряжения. Затем мы выстроились в очередь у зеленого сарая таможни, вдоль ржавой стены парохода к сходням, где стояли чилоты с такими лицами, словно они ждут уже четыresta лет.

Этот корабль когда-то был винтовым пароходом «Виль де Хайфон». Третий класс приближался по уровню к азиатской тюрьме, а отделение за переборкой было предназначено, казалось, не для сбора воды в случае пробоины, а для ночлега носильщиков-кули. Чилоты сгрудились внизу в огромной общей каюте, где пол запаршил от растоптанной плотвы, а в воздухе воняло вареными мидиями и до, и после того, как чилоты ими блевали. Вентиляторы в первом классе были отключены, и мы пили в салоне, обшитом панелями, с работниками каолиновой шахты, которых надо было высадить в одну из ночей посреди моря на их белом острове, где нет ни одной женщины. Когда мы отплывали из порта, один бизнесмен из Чили играл «La Mer»¹ на белом пианино, у которого многих клавиш не хватало.

¹ La Mer — море (фр.).

Капитан был шикарный тип, свято уверенный в прочности корабельных заклепок. Еда, которую ему подавали, была куда лучше нашей, и мы видели хитрую улыбку на лице стюарда, когда он убирал гвоздики с нашего стола, подавал свиные ножки, а корабль начинало подбрасывать и подкидывать на треугольных волнах.

Утром черные буревестники резали волны крыльями, и сквозь туман мы видели, как крутые морские валы разбиваются об утесы. Торговец женским бельем, выпущенный из больницы, расхаживал по носовой части палубы, покусывая губы и бормоча стихи. Еще там был парнишка с Фолклендских островов в шляпе из тюленьей кожи и со странными острыми зубами.

— Пора уже аргентинцам завоевать нас, — сказал он, — до того мы все к черту выродились.

И он засмеялся и вынул из кармана камешек.

— Посмотри, что он дал мне, — чертов камень! — И пока мы выходили в Тихий океан, бизнесмен играл и играл «La Mer». Вероятно, это было единственное, что он умел играть.

Брюс Чатвин
В Патагонии

Перевод с английского *Ксения Голубович*
Редактор *Ксения Викторова*
Макет *Дарья Яржамбек*
Координатор *Ксения Новикова*
Верстка *Алексей Пустовалов, Андрей Карамнов*
Старший корректор *Марина Халдина*
Принт-менеджер *Михаил Иванов*

Брюс Чатвин

В Патагонии, пер. с англ. Ксении Голубович

М.: ЗАО «Афиша Индастриз», 2006, Издательство «Логос», 2006. — 304 с.

Подписано в печать 14 июля 2006 года

Тираж в 5000 экземпляров отпечатан в ОАО «Типография «Новости» (Москва, Фридриха Энгельса, 46)

Формат 125х190. Бумага офсетная

Заказ №1805